



ЮЗ АЛЕШКОВСКИЙ



Николай Николаевич



Маскировка

Юз АЛЕШКОВСКИЙ

5

Николай Николаевич

71

Маскировка

ББК 84(2)7
А 49

В оформлении обложки
использована гравюра на дереве
художника
АНДРЕЯ ТАЛЯ

© Составление, оформление.
"Весть", 1990

© Юз Алешковский, 1990

Редакционно-издательское общество "Весть"
129010, пр. Мира, 10, а/я 55

Подписано в печать с готовых диапозитивов 26.12.90.
Формат 84x108/32. Гарнитура таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 6,72. Изд. № 11. Заказ № 12.
Тираж 200000 экз. Цена 5 р.

Отпечатано в типографии Литовского издательского
предприятия «Спауда» Вильнюс, Майронё, 1.

...Если не ошибаюсь, Юз появился в Москве зимой 54-го или 55-го, я увидел его впервые на чьей-то кухне в старом доме в центре Москвы, в Столешниковом переулке. Алешковский пел: "Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознание знаете вы толк, а я простой советский заключенный и мой товарищ серый брянский волк". Теперь, особенно молодежи, не понятен ни юмор, ни яд этой песни, а для нас в ней была наша жизнь, совсем недавнее вмешательство вездесущего и всюду гадающего Сталина вдруг еще в языкознание, — он написал дилетантскую и мракобесную статью, которая была лишь сигналом для очередного погрома интеллигенции...

Автору песни хлопали, автора просили петь на "бис", и он пел с охотой и простотой...

...Тогда же я услышал впервые "Окурочек" и влюбился в эту песню. Про то, как зек в зоне поднимает с земли, со снега окурки сигареты со следом губной помады. Это щемящая, простая, печальная лирическая песня мне представляется — я говорю уже почти как критик, — что она есть ключевая для писателя Алешковского. Когда какое-то время спустя пошел по самиздатским кругам первый роман Алешковского, "Николай Николаевич", озорная, сатирическая, хулиганская книга, она тоже — сквозь сатиру, разоблачения, социальность, гражданский гнев и прочее — оказалась книгой прежде всего о любви, я бы даже сказал, одной из лучших современных книг о любви, — и она тоже была тем же "Окурочком"; книгой серьезной мужской нежности, тоски и томления, мужской серьезной страсти и высокой женственности, простоты и сложности — не в общетрадиционном литературном стиле — "стиле рондо", как любит посмеиваться над нашей лирической прозой (и моею в том числе) сам Алешковский, — а весомо, грубо, зримо, как оно бывает на самом деле, а не в литературе и кино. Она была н о в а я, ни на что не похожая. ... В двадцатые и тридцатые годы почти все писали хорошо, все искали новое, оригинальное, судили еще по гамбургскому счету и делали действительно новую, поражающую мир литературу, ... и русский а затем и советский авангард занимал не последнее место. Но через двадцать лет практически не осталось писателей. ... Советская Универсальная Машина по закапыванию талантов в землю ... подобрала помаленьку всех, кто выделялся, кто что-то умел не так, как другие. Эта же машина очень скоро нашарила своими сверхсенсорными щупальцами и Юза Алешковского, вытащила его из-под обложки злополучного "Метрополя" ... И выбросила машина писателя с родной земли подальше в U S A в штат Вермонт. Тем и кончилось. Пока что.

... Мы раскидали свои богатства, свои драгоценности по всему свету, мы уничтожили, и зарыли в землю, и развеяли в дым не просто богатства, но ценности, которые нельзя ни нажать заново, ни повторить. Пока еще хоть что-то осталось нашего по свету, надо срочно вернуть, прижать к сердцу. Время

собирать камни наступило давно, а мы как всегда тянем и медлим. Но и камни втягивает в себя земля, и можно не успеть. Юз Алешковский — настоящий русский писатель, все, им написанное, принадлежит изначально России, Москве, Советскому Союзу. Он весь вышел из народа — это доказывает любая его строчка, — и он должен быть возвращен народу. Он давно заслужил это право.

... "Николай Николаевич" — книжка обличительная, яростная, сатирическая и вместе с тем, повторяю, книга о любви, полная нежности, лирики и мужества, мужской любовной страсти и муки, ревности и ярости, простоты и правды ... и я уверяю читателя, что со времен Михаила Зощенко, Булгакова, Ильфа и Петрова мы не читывали столь смешной книги.

... Разумеется, немало есть людей (и будет), наотрез не принимающих Алешковского. Ни его, так сказать, платформы, идейной позиции (антисоветчина! фарс!), ни его героев (уроды! издевательство! клевета на советского человека, русской, еврейской и других национальностей!), ни его языка, фантазии, образности (чушь! грязь! похабщина! вообще не литература!)... Ну, и так далее, что говорить на эту тему, всем все давно уже известно. Что касается героев, то на писателе не мог не сказаться его лагерный опыт: лагерь въедается в человека, как уголь в шахтера, дым в кочегара, миазмы свалки в мусорщика. Алешковский сидел не за политику, да и кто сидел за политику? В большинстве сидел сам народ, от крестьянских мальчишек, укравших полмешка картошки, и городских девчонок, опоздавших на работу, до прибалтийских ксендзов и вернувшихся с войны из плена солдат и офицеров. Писатель так устроен, что впитывает в себя все, и куда же деться ему от опыта собственной и народной жизни? И его ли вина, если эта жизнь абсурдна? ... Алешковский замечательно умеет соединить трагическое и смешное, сказать совершенно по-своему, по-другому о том, что всем уже, кажется, известно. Алешковский — последовательный защитник простого и, стало быть, самого униженного, забитого, затурканного жизнью человека. Но — Человека, всегда че-ло-ве-ка!

... Конечно, Алешковский пишет по-иному, нежели Солженицын, Гроссман, Платонов, Пастернак, Булгаков или Домбровский, а тем более нежели Лев Толстой, Щедрин и Достоевский. Ну и что?.. Я умолкаю, потому что все время ловлю себя на том, что вроде перед кем-то оправдываюсь, ищу, как выгородить и защитить Алешковского, доказать, что он не верблюд. Да перед кем? Почему? До каких пор это делать? Алешковский сам может прекрасно ответить за себя и сам себя собою защитить. Мы всю жизнь спорим о том, чего не читали, не видели, обсуждаем и осуждаем, о чем нет понятия. Без предмета, так сказать. Рагу из зайца. Без зайца. Надо писателя издать...

Михаил Роцин
("Огонек", № 41, 1990)

Николай Николаевич

Научно-фантастическая повесть

1

Вот послушай. Я уж знаю: скучно не будет. А заскучаешь, значит, полный ты мудила и ни хуя не петришь в биологии молекулярной, а заодно и в истории моей жизни. Вот я перед тобой мужик-красюк, прибораклен, усами сладко пошевеливаю, “Москвич” у меня хоть и старый, но бегаёт, квартира, заметь, не кооперативная и жена скоро кандидат наук. Жена, надо сказать, — загадка! Высшей неразгаданности и тайны глубин. Этот самый сфинкс, который у арабов, я короткометражку видел, говно, по сравнению с ней. В нем и раскалывать-то нечего, если разобраться. Ну, о жене речь впереди. Ты помногу не наливай, половинь. Так забирает интеллигентней, и фары не разбегаются. И закусывай, а то окосеешь и не поймешь ни хуя. Короче говоря, после войны освободился я девятнадцати лет. Тетка меня в Москве прописала: ее начальник паспортного стола ебал прямо на полу в кабинете. И месяц я нигде не работал. Не хотел. Куропчил * потихоньку на садке **, причем без партнеров, и даже пропаль *** пульнуть некому. Искусство. Видишь пальцы? Ебаться

* воровал

** толкучка при входе, например, в вагоны

*** передача бумажника, кошелька и т.п. напарнику

надо Ойстраху. Мои длинней. И, между нами, чуял я этими пальцами, что за купюры в лопатниках или просто в карманах. Цвет ихний пальчиками брал и ни разу не ошибся. А сколько таких парчушек, которые за рупь горят или за справку из домоуправления, которую они, фраера, тянут, как банкнот в миллион долларов, столько сил тратят, на цыпочках балансируют, вытягиваются, а их — за жопу и в конверт. У нас не считается, сколько спиздил, — главное не воровать. Ну ладно, куропчу я себе помаленьку. Маршрут “Б” освоил и трамвая “Аннушки”. Карточки, заметь, не брал. А если попадались, я их по почте отсылал или в стол находок перепуливал. Был при деньге. Жениться собирался. Вдруг тетка говорит:

— Сосед тебя в институт к себе берет. Лаборантом будешь. Все одно погорим. Скоро срока увеличат. Мой сказывал, а у него брат на Лубянке шпионов ловит и все знает прямо от Берии.

И правда, указ вышел. От пяти до четвертака. Я перебздел. Везло мне что-то очень долго. И специальность получить хотелось, но работать я не любил. Не могу и все. Хоть убей. Отучили нас в лагерях работать. Пришлось идти в институт к соседу все ж таки, потому что примета такая: если перебздел — скоро погорим.

С соседом этим мы по утрам здоровались. Он в сортире подолгу сидел, газетой шуршал и смеялся. Воду спустит и хохочет. Ученые, они все авоськой стебанутые. По-моему, он тоже тетку ебал, и, в общем, устроился я в его лабораторию. По фамилии он был Кимза, нацию не поймешь, но не еврей и не русский. Красивый, но какой-то усталый, лет под тридцать.

— Будешь, — говорит, — реактивы носить, опыты помогать ставить. Захочешь — учиться пойдешь. Как?

— Нам, — говорю, — татарам одна хуй. Что ебать подтаскивать, что ебанных оттаскивать.

— Чтобы мата больше я не слышал.

— Ладно.

2

Неделю работаю. Таскаю хуйню всякую, склянки мою, язык солью какой-то обжег в обед и дрисстал дня четыре чем-то синим. Думал, соль поваренная, а она, падла, химическая была. Бюллетень не брал, однако. А то в жопу миномет вставлять бы начали, как в лагере. Чернил пузырек я тогда уделал, чтобы на этап северный не идти... В общем, работаю. Оборудую новую лабораторию. Микроскопов до хуя, приборов, моторов и так далее. Вдруг надоело упираться. Я даже пошалил. В буфете у начальника отдела кадров лопатник из “скулы” * увел, ради искусства своей профессии. И, еб твою мать, что тут началось! Часа через полтора взвод в штатском приехал, из института никого не выпускают. Генеральный шмон, и разве только в очко ** не заглядывают. А все из-за чего? Я с лопатником пошел посрать, раскрыл его, денег в нем нет. Одни ксивы. То есть доносы. И на моего Кимзу тоже донос. Дескать, науку хуй знает куда отодвигает, на собрании не поет, не хлопает, голосовал с отвратительным видом и включает легкую музыку советских композиторов. Опыты его направлены против человека, который звучит гордо, и поэтому косвенно распатывают экономику. Понял? Четвертаком завоняло для Кимзы. Пятьдесят восьмой. Но я стукачей не люблю. Чужими доносами подтерся. По ним

* боковой карман

** анус

получалось, что весь институт — сплошной заговор осинового гнезда, а значит, и я в том числе? Донос на Кимзу я из сортира вынес. Лопатник мойкой* расписал на части и в унитаз бросил. Дверь кто-то дергает, орет и бушует. Я вышел, объяснил, что химией обхавался и что дверь не зуб — не хуя ее дергать.

— Смотрите, — говорю Кимзе, — ксива на вас.

Он прочитал, побледнел, поблагодарил меня, все понял и — хуяк бумажку в мощнейшую кислоту. Она у нас на глазах растворилась к ебени бабушке. Тут меня дергают к начкадрами. Я, разумеется, в несознанке.

— Не такие, — говорю, — портные шили мне дела, и то они по швам расплозились на первой примерке!

— Показания есть, что ты сзади в очереди терся. Может, старое вспомнил?

— Ебал я эти показания. Много ли там денег-то хоть было?

— Денег совсем не было.

— Ну, тогда бы я на такое говно никогда не позарился.

Штатские посмеялись. Отдохнули, видать, с моим простым языком и отпустили.

Назавтра говорю Кимзе, что работать не буду. Принципиально я не рабочий, а артист своего дела. Я, говорю, на тахте люблю лежать и хавать книжки. Тут он странно так на меня посмотрел и, главное, долго и начал издалека насчет важности для всего человечества евонной науки — биологии и что он начинает опыты, равных которым не бывало. Одним словом, эксперимент. И я ему необходим. И что работа эта благодарная и творческая. Но самое интересное, что она и не работа, а одно удовольствие, причем высокооплачиваемое. Только без предрассудков к ней

* бритва

отнестись надо и с мыслью о будущем человечества. Он чаще всего на это дело напирал.

— Слушай, сосед, — говорю, — не еби ты мне мозгу, о чем речь-то?

— Ты должен стать донором.

— Кровь что ли сдавать?

— Нет, не кровь.

— Что же, — смеюсь, — говно или ссаки?

— Сперма нам нужна, Николай. Сперма!!!

— Что за сперма?

— То, из чего дети получаются.

— Какая же это сперма. Это — малофейка. Малофья, по-научному.

— Ну, пусть малофья. Согласен сдавать для науки? Только не пугайся. Позорного в этом ничего нет. Кстати, полнейшая тайна тебе гарантируется.

— А ты сам чего не сдаешь? — подозрительно спрашиваю. Он нахмурился.

— Могут обвинить в выборе объекта исследования по родственному признаку. Давай, соглашайся.

Тут я сел на пол и стал хохотать. Ни хуя себе работа! Чуть не обоссался, и аппендицит заболел.

— Ржешь, как болван. Сядь и послушай, для чего нам нужна твоя сперма, — сказал Кимза.

Шутки-шутками, а я прислушался, и оказалось, что план у Кимзы таков: я дрочу и трухаю, что одно и то же, а малофейку эту под микроскоп будут класть и изучать. Потом попробуют ввести ее в матку бесплодной бабе и посмотрят, попадет она или нет. Тут я его перебил насчет алиментов в случае чего. Заделаешь штукам пяти, а потом шевели рогами в получку.

— Это, — говорит, — пусть тебя не волнует.

И еще у него имелись совершенно тайные планы для моей малофейки. Обещал их рассказать, как только приступим к опытам. И веришь, встал мой сопливый от этих разговоров — хоть сейчас начинай! А это мне не впервой. В лагере каждый сотый не трухает, а остальные девяносто девять дробчат, как сто. Все дело в том, чтобы морально не переживать. Другой подروحит и ходит три дня как убитый, от самопозора страдает. И на всю жизнь себя этим переживанием калечит. Знал я Мильштейна Левку — мошенника. Отбой, кожаные движки начинают работать, а Левка зубами скрипит, борется с собой и затихает постепенно. Я его успокаивал.

— Организм требует, и нечего над ним издеваться. Он ни при чем. Не будь ему прокурором!

Ну, ладно. Задумался я и спрашиваю Кимзу про условия. Сколько раз спускать? Какой рабочий день, оклад и название должности в трудовой книжке?

— Оргазм ежедневно по утрам, один раз. Оформим тебя техническим референтом. Оклад по штатному расписанию. Рабочий день не нормирован. 820 рублей. После оргазма — в кино.

3

Я виду не подал, что удивился и даже охуел. Приду, думаю, струхну и — на трамвай “Аннушка” да в троллейбус “Букашку”. В случае, если погорю — смягчающее обстоятельство: работаю в институте. В общем, согласился. Вечером сходил к старому международному урке. Вышего класса был вор, пока границы не закрыли на Карацупу и его верного друга Ингуса.

— Ты, — говорит урка, — счастливчик и везунчик. Но продешевил. Ведь струхня дороже черной икры стоит. Почти как платина и радий. Пиздюк официальный ты! Я бы этим биологам поштучно свои живчики продавал. На то им и микроскопы дадены — мелочь подсчитывать. Поштучно, блядь! Понял?

— Понял, как не понять. Жопа я, и в правду. Ведь живчик — это самый наш цимес. И на здоровье частая дрочка дурно повлияет. Не бзди, — говорю я урке, — цену я постепенно подниму. Не фраер.

— Жалко вот нельзя разбавить малофейку. Ну, вроде, как сметану в магазине. Тоже навар был бы, — говорит урка.

— Еб твою мать! — по лбу себя стукаю. — Я придерживать буду при спуске. А потом с понтом вторую палку сверх плана выдам!

— Не советую, — серьезно так говорит урка, — нельзя прерывать половые сношения хотя бы и с Дунькой Кулаковой. Вредно. Я одну бабу из-за этого разогнал. Только и вопила: кончай куда-нибудь в другое место! Может, в среднее ухо? — спрашиваю. — Все равно куда, лишь бы не в мутер! — У меня, блядь, на этой почве на ногах ногти почти перестали расти. Веришь? Пришлось разогнать ее. Так что уж кончай по-человечески. Тащи бутылку с поллучки. Да! Сдери с них молоко за вредность и скажи, что тех, которые кровь сдают, кормят бациллой * после сдачи. Не будь фраерюгой. В Америке пять раз струхнешь — и машину покупаешь. Понял?

* жиры, мясо и т. п.

Ну, прихожу утром на работу, стараюсь, чтобы не смеяться. Стыдно немного, а с другой стороны, — хули, думаю, краснеть? Пускай ебучее человечество пользуется. Может, на пользу ему еще пойдет... Смотрю, а для меня уже хавирку маленькую приготовили, метра три с половиной, без окон. Лампа дневного света. Тепло. Оттоманка стоит. На стуле пробирка.

— Ну вот, Николай, твое рабочее место, — говорит Кимза.

— Только договоримся — без подъебок, — отвечаю.

Тут Кимза и велел мне не развивать в себе какой-то компас неполноценности, а, наоборот, гордиться.

— Располагайся. Приступай, как только я скамандую: внимание — оргазм! После оргазма закрой пробирку пробкой.

— Чтоб не разбежались?

— Работать быстро и без потерь! Читал объявления?

Я закрылся, прилег, задумался, вспомнил, как в побег ушли мы с Кирюхой в бабский лагерь и переебли там всех вороваяк, а те, кому не досталось, все больше фашистки и фраерши, тусы с нас содрали и на части их разорвали, чтобы хоть запах мужской иметь под казенными одеяльцами. Вспомнил, а сопливый уже, как кобра под дудку, головой в разные стороны поводит. Я тогда ебся редко, сразу струхнул. Полпробирки. Целый млечный путь, как говорил мой сосед по нарам, астроном по специальности. На него дружок стукнул, что он Землю как планету в рот ебет, если на ней происходит такая хуета, что ни в какие ворота не лезет. Прости, отвлекся, несую пробирку Кимзе.

— Ого, — говорит, — посмотрим. — И размазал немного на стеклышке, а остальное в какой-то прибор сунул, весь обледенелый и пар от него валит.

Посмотрел Кимза в микроскоп и глаза на меня вытаращил. Словно по облигации выиграл.

— Ну, Николай, — говорит, — ты супермен! Сверхчеловек! Невероятно! Почему — не спрашивай. Потом поймешь. Я тебя поднатаскаю в биологии.

— Посмотреть-то можно?

— В другой раз. Сейчас иди. До завтра.

Ну, я вежливо говорю, что в Америке дороже платят и питаться надо после каждой палки от пуза, а то подрочу с неделю, и вся наука остановится: кончится моя малофеечка.

— А что бы ты хотел иметь из закуски? Учти, что с продуктами сейчас трудно. Вся страна, кроме вождей и главмагов, голодает.

— Мяса грамм двести, — говорю, — хлеб с маслом. Можно семечек стакан. Чаю покрепче.

— Зачем же семечки? — спросил Кимза. Я и отвечаю, что во время дочки другой рукой можно от скуки грызть семечки.

— Семечек не будет, — разозлился Кимза. — А на счет мяса похлопочу. Мой шеф — академик-вегетарианец. Возьму его карточку. Он огромное значение тебе придает.

— И зарплату увеличить надо. Из своего кармана что ли платишь?

— Увеличим. Вот организую лабораторию, ставок выколочу побольше и увеличим. Хорошо будем платить за твою малофеечку. Злая она у тебя, Николай. Ну иди, а то у меня твои живчики передохнут. Вахтеру скажи: наряд на осциллографы идешь получать.

— На чернуху я мастер. Не бздите.

Иду по институту, и первый раз в жизни совесть во мне заговорила. Ишачат все эти доктора, кандидаты и лаборанты, а я подрочил себе в удовольствие, и готов. Домой иду. Неловко как-то. А с другой стороны, малофейка науке нужна и всей стране, значит. Я аккордно работаю. Вот только на дремоту меня повело после дочки. И воровать лень. Пошел я в бар пиво пить и раков хавать с черными сухариками. Кстати, учти, от пива стоит, надо лишь думать о бабе после пяти кружек, а не насчет поссать. Как посышь, так стоять не будет. Как же поссать, говоришь? Внушать себе надо уметь. Вот, которые в Индии живут, даже не срут по месяцу и больше, а ссаки в пот превращают и в слезы. Я так полагаю, что по-научному, по-нашему, по-биологицки, кал, то есть говно, у этих йогов в запах превращается. Ну вот, скажем, спирт. Не закроешь, он и выдохнется. Только спирт быстро выдыхается, а говно долго, в нем, в говне, молекула совсем другая, и очень вонючая, гадина такая. А уж про атом говенный и говорить нечего. Он, блядюга, и не расщепляется, наверно, в синхрофазотроне. Между прочим, спрошу у Кимзы, что будет, если он расщепится. Верняк — мировая вонь поднимется до облаков... Ты пей! Спиртяга — высшей чистоты. Мне на месяц два литра выдают, муде перед оргазмом дезинфицировать. Ну, а я как советский человек экономию навожу. Ведь как дело было. Кимза и всем остальным выдает спирт, а мне — нет. Ну уж хуюшки, думаю себе, и в пробирку к малофейке грязь наскреб с каблука. Я не фраер. Кимза сразу тревогу забил:

— Почему живчики не стерильны? Почему они чумаые? Руки трудно вымыть донору?

— Надо, — говорю, — при опыте не руки мыть, а член — орудие производства. Он, небось, в штанах, а не в

безвоздушном пространстве. Мало ли где за сутки побывает.

— Сколько тебе спирту надо? — нахмурился Кимза.

— Два литра, — говорю.

— Многовато. Триста грамм хватит.

Тут я доказал, что прежде, чем за хуй братья, нужно все пальчики обтереть, на обеих, причем, руках, я ведь руки меняю, а заодно и пах стерилизовать, так сказать.

— Хорошо. Литр ему выпишите на месяц, — велел Кимза.

— Э-э! — уперся я. — Не пойдет так дело. Литр — это в расчете на член лежащий, в самом лежачем виде, как допустим, после холодного моря Гагров, а на стоячий надо в три раза больше. И я еще по совести прошу. Я, блядь, самое ценное в себе отдаю людям! Я бы в Америке давно уже дачу имел на курорте “Линкольн” и другую недвижимость. И я, блядь, не мертвые души государству забиваю, как Чичиков, а свежую свою родную сперму. А потому и нечего на мне экономию разводить! Я — человек! Ты меня залей спиртом, и я его сам первый пить не стану. А то подьбывает каждая падла, что я член при жизни заспиртовать решил. Мандавошки! Если бы не я, вы бы не диссертации защищали, а свои жопы на летучке у директора. На моем хую держитесь! Учреждение наше — НИИ — склочное и порядку в нем нету. Не то, что в тюрьме или в БУРе. Я сроду не стучал, но если вы, змеи, зажмете спиртягу, ей богу, стукну в партком, местком и профком!

— Хорошо. Два литра, — сказал Кимза. — И ни грамма больше! — И скомандовал в лаборатории: — Внимание — оргазм!

Вот я, кирюха, и со спиртиком. Даже рационализацию устроил: протираю лежащий, а не стоячий, и премию за это даже получил... Будем здоровы! Ты хавай. Эту севрю-

гу и красную икру я специально для себя сегодня оставил. Ну так вот. Черную, между прочим, я не уважаю. У меня диатез от нее. Жопа идет пятнами, чешется, ужас как, и кальций надо пить, а он, сволочь, горький очень. Ну так вот. Об такой закуске тогда еще и мечтаний не было.

5

Хожу я, значит, по утрам в институт, номерок вешаю и с Машками не путаюсь, потому что боюсь лично набиться и по сдаче спермы фуфло двинуть*, как сейчас говорят, крутануть динамо. Привык. Решил Кимзе ультиматум предъявить.

— Ты, — говорю, — на работу простую энергию тра-тишь, а я самую главную, и я, — говорю, — когда кончу, на ногах еле стою и под ложечкой тянет. Может, мне и жить-то еще лет пятнадцать, а вам, сукам, гүжеваться!

А у Кимзы опыты пошли успешно, он иногда шутил даже поставить памятник моему члену заводной. Чтобы он вставал с первыми лучами солнца. В старину такие были памятники. Но их снесли. Застеснялись. А кого застеснялись? Ведь член, кирюха, если разобраться, самое главное. Главней мозгов. Мы же лет мильен назад не мозгами ворочали, а хуями. Мозги же развивались. Да если бы не так, то и ракета была бы не на хуй похожа, а на жо-пу, и из нее только бы вонь и грохот шли. Сама же не то, что до Луны... В общем, хули говорить. Помни мое слово, вот увидишь! Когда мозге больше некуда будет развиваться, настанет общий пиздец. Стоять не будет по тем временам, даже у самых дураков, вроде нас с тобой. Все будут исключительно давать дуба, а в родильных домах и в са-

* обмануть

ленах для новобрачных пооткрывают цветочные да венковые магазины. А на улицах под ногами стружка будет шуршать: столярные работы начнутся. Ладно! Хули ты шнифты раскрыл? Нескоро это еще: и общий пиздец все равно не состоится. Но об этом речь впереди... Я и говорю Кимзе:

— Набавляй. Мне и приборакхлиться надо, и телевизоры скоро выпускать начнут, а то опять воровать пойду или на водителя трамвая “Букашка” учиться. Хоть из своего кармана выкладывай, и частным образом буду тебе живчиков толкать. Две тыщи с половиной хочу получать.

— Хорошо. Уволим двух уборщиц. Оформим тебя по совместительству.

— Ну уж, ебу я такой труд на половых работах!

— Ты будешь числиться, а убирать будут другие лаборанты. Ясно?

— Это другое дело.

— Аппетиты твои растут, надо сказать.

— Что-о-о, курва? — говорю. — Хочешь, чтобы я женился?

— Ну-ну! Не бесись. Мне ведь и десять тыщ на тебя не жалко. Вот получу если Нобелевскую премию — отвалю приличную сумму. А сейчас времена в нашей науке сложные и тяжелые. Дай бог опыт до конца довести! Завтра начнем.

Ну, я обрадовался! 2400! Хуй на автобусе заработаешь, не то что на “Букашке”.

6

И пошел я на радостях в планетарий. Сначала поддал, конечно, как следует. Я люблю это дело. Садись под

легкой балдой в кресло, лектор тебе чернуху раскидывает про жизнь на других землях и лунах, а ты сидишь себе, дремлешь, а над башкой небо появляется, и звезды на нем и все планеты, которые у нас в стране не видны, например Южный Крест, и чтобы его увидеть, надо границу переходить по пятьдесят восьмой статье, которая мне нужна, как пизде будильник. Вот мигают звездочки и созвездья разные, и небо — чернота сплошная — тихо оборачивается, а ты, значит, под легкой балдой в кресле, вроде бы один на всей земле, и ни хуя тебе, твари жалкой, не надо. И вдруг светать начинает. Пути Млечного не видать, розовеет по краям. Хитрожопый такой аппарат! Потом часы бьют — бим-бом. Зеваю шесть часов. Скорей бы утро, и снова на работу. Слава Богу, думаю, что не на нарах лежу и не надо, шелюмку похлебавши, пиздячить к вахте, как курва с котелками... Поддал я еще в баре на радостях от прибавки и попер к бывшему международному урке, а у него в буфете хуй ночевал. Пришлось бежать в гастроном. Ну, захмелел урка, завидует мне и хвалит и велит не трепаться, чтобы не пронюхал всякий хмырь — студент.

— Бойся, — говорит, — добровольцев. Их у нас до хуя и больше.

Я тоже накирялся в сосиску. Утром проспал, бегу, глядь, а в башке от борта к борту, как в кузове, жареные звезды пересыпаются. Кимза на меня полкана спустил, кричит:

— Вы задерживаете важнейший опыт!.. Внимание — разм!

А около прибора, от которого пар идет, академик бегающий в черной шапочке и розовые ручки потирает. Запираюсь в своей хавирке, включаю дневной свет. Рука у меня дрожит, хоть бацай на балалайке, а кончить никак не мо-

гу, дрочу, весь взмок. В дверь Кимза стучит, думает, я закемарил с похмелья, и спрашивает:

— Почему оргазм задерживается? Безобразие!

У меня уже руки не поднимаются, и страх подступил. Все! Увольняйте, бляди, без выходного пособия! Пропала малофейка. Пропала моя малофейка! Открыл дверь, зову Кимзу.

— Что хочешь делай. Сухостой у меня. Никак не кончу.

Академик просунул голову и говорит:

— Что же вы, батенька, извергнуть не можете семечко?

Я совсем охуел и хотел сию же минуту по собственному желанию уволиться, и тут вдруг одна младшая научная сотрудница Влада Юрьевна велит Кимзе и академику:

— Коллеги, пожалуйста, не беспокойте реципиента. — То есть меня. Закрывает дверь:

— Отвернитесь, — говорит, — пожалуйста. — И выключает свет дневной. И своей, кирюха, собственной рученькой берет меня вполне откровенно за грубый, хамский, упрямую сволочь, за член... и все во мне напряглось, и словно кто в мой позвоночник спинной алмазные гвоздики забивает серебряным молоточком и окунает меня с головы до ног в ванну с пивом бочковым, и по пене красные раки ползают и черные сухарики плавают. Вот, блядь, какое удовольствие было! Не знаю даже, сколько времени прошло, и вдруг чую: вот-вот кончу, и уже сдерживать себя не мог, заскрипел зубами, изогнулся весь и заорал... Потом уж рассказывал Кимза, что орал я секунд двадцать и аж пробирки зазвенели, а осциллографа лампочка перегорела от моей звуковой волны. Сам же я полетел в обморок, в пропасть.

Открываю глаза. Свет горит, ширинка застегнута на все пуговицы, в голове холодно и тихо, и вроде бы набита она сырковой массой с изюмом. Очень я ее уважаю. Никакого нет похмелья. Выхожу в лабораторию. На меня зашикали. Академик над прибором, от которого пар валит, колдует и напевает: "...А вместо сердца пламенный мотор..." Ну как себя не уважать в такую минуту. Я и уважал. Вдруг что-то треснуло, что-то открыли, гайки скинули, академик крикнул: "Ура!", подбежал ко мне, руку трясет и говорит:

— Вы, батенька, возможно, прародителем будете вновь зарождающегося человеческого племени на другой планете! Каждый ваш живчик пойдет в дело! В одном термосе — народ! В двух — нация! А может, наоборот. Сам черт не разберется в этих сталинских формулировках. Поздравляю! Желаю успеха. — И убежал.

Я ни хуя не понимаю. Влада Юрьевна смотрит на меня, вроде и не она дрочила, а оказывается вот что: мою наиэлющую малофейку погружали в разные жидкие газы, замораживали, к сбаной бабушке, в камень, ну и оттаивали. Оттают и глядят: живы хвостатые или нет, а в них гены затасованы. Никак не могли газ подобрать и градусы. И вот — подобрали. И что же? Ракет тогда не было. Но Кимза мечтал запустить мою малофейку на Андромеду, и в общем, я в этом деле не секу, посмотреть, что выйдет. Понял? Ты ебало не разевай. Еще не то услышишь. Они бы попали на Андромеду и в стеклянном приборе, как в пузе, забеременели бы. Через девять месяцев — раз, и появляются на планете Андромеда живехонькие Николаи Николаичи! Штук сто сразу, и приспособляются, распиздяи, к окружающей среде. Не веришь? Мудило! А ты купи карпа живого, заморозь, а потом в ванну брось. Он же и оживет. "А-а-а!" Хуй на! Чтоб не падал от удивле-

ния. Так вот, возвращается академик. Хотя нет! Сначала я говорю:

— Дайте хоть взглянуть краем глаза на этих живчиков. — Пристроил я шнифт к микроскопу. Гляжу. А их видимо-невидимо. Правда, что народ или нация. И каждый живчик в ней — Николай Николаевич. Надо бы, думаю, по бабе на каждого, но наука еще додумается. Вот приходит академик и говорит:

— Вы, Николай-батенька, уж как-нибудь сдерживайте себя, не рычите, не орите при оргазме, а то уж по институту слух пополз, что мы вивисекцией здесь занимаемся. А времена знаете какие? Мы — генетики — без пяти минут враги народа. Да-с. Не друзья, а враги. Сдерживайте себя. Трудно. Верю. Но сдерживайте. Скрипите хотя бы зубами.

— Это, — говорю, — нельзя. От зубного скрипа в кишке глисты зарождаются.

— Кто вам, милый вы мой, это сказал?

— Мамаля еще говорила.

— Кимза! Подкиньте эту идею Лепешинской. Пусть ее молодчики скрипят зубами и ждут самозарождения глистов в своих прямых кишках. По теории вероятности успех обеспечен. А еще лучше — вставьте им в анусы по зубному протезу... Шарлатаны! Варвары! Нахлебники! Враги народа!

Тут академик закашлялся, глаза закатил, побелел весь, трясется, вот-вот хуякнется на пол, а я его на руки взял:

— Не бздите, — говорю, — папаша, ебите все в рот, плюйте на солнышко, как на утюг, разглаживайте морщины!

Академик засмеялся, целует меня:

— Спасибо, — говорит, за доброе, живое слово, не буду бздеть, не буду! Не дождутся! Пусть бздит неправый! — он это по-латински добавил.

Кимза тут спирт достал из сейфа. Я закусон приволок свой донорский, ну мы и ебнули за успех науки. Академик захмелел и кричит, что не страшна теперь человечеству всемирная катастрофа и что если все пиздой накроются и замутируют, то моя сперма зародит нового здорового человека на другой планете, а интеллект — дело наживное, если он вообще человеку нужен, потому что хули от него, кирюха ты мой, толку, от интеллекта этого? Ты бы посмотрел, как ученые хавают друг друга без соли, блядь, в сыром виде, разве что пуговички сплевывают. А международное положение какое? Хуеватое. Вот какое! У зверей, небось, львов там или шакалов, даже у акул нету ведь международного положения, а у человека есть. Из-за интеллекта. Ладно. Прости за лекцию. Пей. А радиация, блядь! Из-за этой радиации, знаешь, сколько нас импотентами стало? Хорошо — у меня иммунитет от нее, суки позорной.

7

Короче, прихожу на другой день или после воскресенья, ложусь в хавирке на диванчик, а член не встает. Дрочу, дрочу, а он не встает. От рук отбился, гадина, совсем. Заелся, пропадлина. А дело было простое — я ведь все воскресенье про Владу Юрьевну мечтал, сеансов набирался, влюбился, ебитская сила. Но работать-то надо! Кимза орет без толку: внимание, товарищи, — оргазм! Опять занервничал. И представь, Влада Юрьевна говорит, что, мол, у меня теперь какой-то стереотип динамический

в голове образовался и придется ей снова вмешаться. Я от этих слов чуть не кончил. Села она, кирюха ты мой, опять рядышком и пальчиками его... а-а-ах! Закрываю глаза, лечу в тартарары, зубами скриплю, хуй с ними, с глистами, а в позвоночник мой по новой забиваются, загоняются серебряным молоточком алмазный гвоздик за алмазным гвоздиком. Ебс! Ебс! Ебс! И по жилам не кровь течет, а музыка. И веришь, ногти чешутся на руках и на ногах так, что, как кошка в течку, все охота царапать, царапать и рвать на кусочки. Тебя пиздячило когда-нибудь током? Триста восемьдесят вольт, ампер до хуя и больше, в две фазы? А меня пиздячило. Так это все муда по сравнению с тем, когда кончаешь под руководством Влады Юрьевны. Молния, падла, колен в двадцать ебистосит тебя между большими полушариями, не подумай только — жопы, головы! И — все! Золотой шар от тебя остается, испарился ты в дрожащую капельку, и страшно, что рассыпались навсегда все двадцать розовых колен родной твоей молнии. Выходит дело, я опять орал и летел в пропасть. Кимза ворвался. Бешеный, белый весь, пена на губах, заикается, толком сказать ничего не может, а Влада Юрьевна ему и говорит, спиртом рученьки протирая:

— Опыты, Анатолий Магомедович, будут доведены до конца. Не теряйте облика ученого, так идущего вам. Если Николай кричит, то ведь при оргазме резко меняются параметры психологического состояния, и механизмы торможения становятся бесконтрольными. Это — уже особая проблема. Я считаю, что необходимо строить сурдобарокамеру. И заказать новейшую электронную аппаратуру.

Ты бы посмотрел на нее при этом. Волосы мягкие, рыжие, глаза спокойные, зеленые, и никакого блядства на лице. Загадка, сука. То-то и оно-то. А у Кимзы челюсть трясется, и на ебале собачья тоска. Если бы был маузер —

в решето распатронил бы меня. Блядь буду, человек, если не так. Ну, и я не фраер, подобрался, как рысь магаданская, и сбал я теперь, думаю, всю работу, раз у меня любовь и второй олень появился на голубом горизонте.

— А вас, Николай, я прошу не пить ни грамма еще две недели. Чтобы не терять времени при мастурбации. У нас его мало. Лабораторию вот-вот разгонят, — только и сказала Влада Юрьевна и вышла, лапочка.

Кимзе я потом говорю:

— Чего залупился? Давай кляпом рот затыкать буду.

— А без кляпа не можешь?

— Ты бы сам попробовал, — говорю.

Он опять побелел, но промолчал. А у меня планы наполеоновские. Дай, думаю, разузнаю, где живет Влада Юрьевна. Подождал ее на остановке, держусь на расстоянии, когда сошли. Темно было. Она идет под фонарями в черном пальто-манто, ноги, как колонны у Большого театра, белые, блядь, стройные, только красиво сужаются книзу, и у меня стоит, как новый валяный сапог, а я без пальто, в кепчонке с Дубинского рынка. Кое-как отогнул хуй влево, руку в кармане держу, хромаю слегка. Зашла она в подъезд. Смотрю — по лесенке не спеша поднимается, и коленка видна, когда ногу ставит на ступеньку. Пятый этаж... ушла... А у меня в глазах: нога ее и коленка, ох, какая коленка, кирюха ты мой! Вдруг легавый подходит и говорит:

— Чего выглядываешь тут, прохиндеина?

— Нельзя, что ли?

— Ну-ка, руку вынь из кармана! Живо!

— Да пошел ты! На хуй соли я тебе насыпал? — Как же я руку-то выну? Неудобно, думаю.

— Р-руки вверх! — заорал легавый. Смеюсь. — Руки вверх, говорю! — И правда, дуру достает и дуло мне меж-

ду рог ставит. Я испугался, руки поднял, а хуило торчит, как будто в моем кармане “максим”- пулемет.

Легавый ахнул, дуло к сердцу моему перевел и за хуй цап-царап.

— Что такое?! — растерянно спрашивает.

— Пощупай получше и доложи начальству, — говорю. — Убедился?

— А документы есть? — Дуру легавый в кобуру спихнул сразу.

— Только член, — отвечаю.

— Чего он у тебя... того?.. Стоит на улице?

— Любовь у меня. Вот и стоит.

— Иди уж, дурак. Весь в комель уродился. Увидел что ль кого?

Посмотрел легавый, голову задрал, нету ли где в окне голой бабьей жопы по случаю, и ушел с досадой. А я сел на краешек мостовой, напротив, и гляжу, как стебанутый мешком с клопами, на дом Влады Юрьевны. Любовь, бля, это тебе, кирюха, не червонец сроку. Это, бля, пострашней, и на всю жизнь. От звонка до звонка. Ох, как я тогда мучился! Вроде бы кто гвозди мне под ногти загонял! Ты не думай, что в ебле дело было. Мне бы просто так смотреть на лицо ее белое без блядства, на волосы рыжие и глаза зеленые. А руки? Рук таких больше нет ни у кого! Вот с чем бы тебе, мудило, сравнить их? Вот представь, стоишь ты босиком на льдине. Семь ветров дуют в семь твоих бедных дырочек. У мужчин, дубина ты, семь, а у баб восемь. На одну дырочку больше, а сколько шухера! В душе, в общем, сквозняк, и жизнь твоя, курва, кажется чужой зеленой соплей. Харкотиной, более того, а вокруг тебя конвой в белых полушубках и горячие бараньи ноги хавают — обжигается. Дрожишь, говнюк? А ты выпей! Вот так. И вдруг... вдруг нету ни хуя, ни конвоя, ни чужих го-

рячих бараньих ног, а теплый песочек и пальмы, чтоб мне твое сердце пересадили. А под пальмами шоколадные бабы, и одна, самая белая, подходит и намазывает тебе бесплатно на муде целую банку розового крема, не для бритья, а в пирожные “эклер” который помещают. Приятно? Но приятно что! И так тебя быстро перевели из одной окружающей среды в другую, словно бы из карцера в больничку, что ты в это не веришь ни хрена и орешь от страху, и хуякс — в обморок. А ты не горюй. Попадаешь еще по обморокам. Попадется тебе баба, вроде Влады Юрьевны, и попадаешь. Ты малый температурный: в задупе ргуть. Только тебе чего надо? Тепла! Паечку тепла, законную и кровную. Хули ты ко мне с обмороками пристал? Что я профессор, что ли? “Почему? Почему?”, еб твою мать! Раскинь шарики-то свои! Ведь из мужиков редко кто падает в обмороки. Все больше бабы. И какие бабы? Простые. Работяги. Не только асфальтировщицы. Мудак ты все-таки! А и кассирши, и бухгалтерши, и в химчистке которые блевотину нашу принимают, и воспитательницы из яслей, и продавщицы, особенно зимой, если на улице овощи продают, фрукты и мороженое, и со стройки бабы, и с мясокомбината, и из всяких фабрик и мастерских. Ведь как дело обстоит? Вроде бы за день наебешься на работе так, что только пожрать — и на бок, и намерзнешься, и жопу отсидишь, и руки ноют, и глаза болят, если баба чертежница. А на самом деле в чем секрет-то? Или муж или ебарь кидает простой такой бабе палку, и она, милая, как на другую планету переносится, я ж тебе не раз разжевывал, дубина ты врожденная. Вот легчик в пике когда входит, тоже обморок чувствует. И космонавты, пока не вырвутся из нашей вонючей атмосферы. Перегрузки, значит. Вбей это себе в голову. И в ебле, при палке, тоже перегрузки наступают уму непостижимые и

телу невозможные. И все в этот миг стораает к ебаной бабуле, и заботы, и ломота, и что за квартиру неплачено, и что какая-то мандавша чулок порвала в автобусе, а ему в паре с другим пять рублей цена — полтора дня работы... Все забывается, еще раз подчеркиваю. Все, что ебет за день нашу работающую женщину... А вот, приблизительно, миллиардерши — те не то, чтобы в обморок хрякнуться, но и вообще кончать не могут, скажу я тебе официально. Разберем почему. Неверящему Антропу — хуй в жопу. Я тебе логикой между рог вдарю. Слышал про кино Муссолини “Сладкая жизнь”? Там это дело показано. Или про кинозвезд читал? По пять раз замуж выходят. Разве побегит баба от мужика, если он ее в космос выводит? Если она под ним помирает, травиночка, от счастья? Ни в жисть! И эта самая жисть устроена хитрожопо. Раз тебе на обед какаду, леденцами набитые, и шашлык из муравьеда, и лакеи в плавках шестерят, а в шкапе шуб, что в комиссионке, и три машины внизу, да в каждой шофер с монтировкой до колен, только позвони — прибежит и влупит, то от всего этого избылиия ты в обморок не упадешь и совсем не кончишь. Захавались. Отсюда хулиганство в крови и легкие телесные повреждения. Бывают и тяжелые. Она кончить не может и начинает миллиардера кусать, а он, паскудина, не орет: ему приятно. Потом сам ее кусать начинает, рычит от удовольствия, ну и до блевотины надоедят друг другу. Развод. Или миллиардер идет смотреть, как баба под музыку раздевает сама себя. Они зачем это смотрят? А вот зачем. Если ты мужик нормальный и баба перед твоим носом платье — влево, комбинацию — вправо, лифчик — фьюить, штанишечки — в сторону, а прожектор голубой светит ей прямо в собранную муфточку, а розовый в сиськи, то не знаю, как ты, кирюха, а я бы, — клянусь, пусть мне твое сердце переса-

дят, если вру, — помчался бы по черепам на сцену, и пока мне полиция крутит руки, бьет дубинкой по башке, свистит, гадина такая, газы в глаза пускает, а я пилю и пилю этот стриптиз, пока не кончу. А когда кончу, вези меня в черном “форде” на суд. И на ихнем суде я скажу в последнем слове:

— Поскольку горю с поличным — сознаюсь. Уеб! И правильно! Не раздевайся на моих глазах. Ты мне не жена! Всегда готов к предварительному тюремному заключению!

Вот как поступит здоровый русский человек, который против разврата. А миллиардеры, знаешь, зачем на стриптиз ходят? Потому что можно эту бабу не ебать. Они рады, что закон запрещает забираться на сцену. А здоровый мужик туда не пойдет. Яйца так опухнут от сеанса, что до Родины враскорячку добираться придется. Ну, теперь все тебе ясно? Откуда я все это знаю? В сорок четвертом с одной бабой жил в лагере. Жена директора дровяной базы. С дровами-то вшиво в войну было, ну он и нахапал миллионы. А она, миллионерша, полхера у него откусила без смягчающих обстоятельств. Ее посадили, а его вылечили и сказали:

— Поезжай на фронт. Развратничаешь, сволочь, когда всенародная кровь льется!

Так что миллионы выходят боком, как видишь. Вопросы есть? Да. И с кассиршей я жил, и с завхимчисткой, и с поварихой. Ты лучше спроси, с какой профессией я не жил. Разве что с вагоновожатой трамвая “Аннушка”. Даже с должностными я жил, не то что с профессиями. Да. И все в обморок падали. Бывало по многу раз. Почему же ты не веришь в эти обмороки? У тебя же логика в башке не ночевала! Докажу. Замечал, что в аптеках нашатырного спирта часто не бывает? Почему, думаешь? Нет, его не

пьют, а нюхают, он при обмороках помогает. А они когда бывают? При оргазмах! Или ваты нету ни в одной аптеке? Значит, у всех в один день месячные появились. По теории вероятности так выпало. Анализ надо привыкать делать. Помнишь, лезвий было нигде не достать? Это китайцы стаю мандавошек перекинули к нам через Амур. Пришлось все вплоть до бровей брить, а я же не стану после мудей этим лезвием скоблить бороду? Перерасход вышел по лезвиям. Логикой думать надо, одним словом, и хватит мне мозгу засерать!.. Налей боржомчику. У меня изжога от твоей тупости. Любя говорю. На чем остановились? Да. Влюбился я. Въебурился по самые уши.

8

На другой день Кимза на меня волком смотрел, не разговаривал, а Влада Юрьевна цыганским своим голосом спросила:

— Может быть, сегодня, Николай, вы сами? А я подготовлю установку.

— Конечно, — говорю. Запираюсь в хавирке, жду команды: внимание — оргазм! Думаю о Владе Юрьевне. И у меня с ходу встает. Тут она постучала, просовывает в дверь книжку и советует:

— Вы отнеситесь к мастурбации как к своей работе, исключите начисто сексуальный момент как таковой. К примеру, мог бы дядя Вася работать в морге, если бы он рыдал при виде каждого трупа?

Логикой она меня убедила, хотя я подумал, что как же это так, если исключить сексуальный момент? Ведь тогда и стоять не будет. Однако поверил. Одной рукой дrouchу, другой — книгу читаю. Кимза, сволочь, олень-соперник,

стучал два раза и торопил. Я его на хуй послал и сказал, что я ему не Мамлакат Мамаева и не левша и обеими руками работать не умею. Книга была “Далеко от Москвы”. Интересно. Я сам ведь был на том нефтепроводе. Вот какие судьба дает повороты. Несу пробирку с малофейкой Владе Юрьевне.

— Спасибо. Вы не уходите, Николай. Вникайте в суть наших экспериментов. Анатолий Магомедович разрешил. В этой установке мы будем сегодня бомбардировать ваших живчиков нейтронами и облучать их гамма-лучами. А затем, вот в этом приборе ИМ-1, начнется наблюдение за развитием плода. Это — матка. Только искусственная. Наша тема: исследование мутаций и генетического строения эмбрионов в условиях жесткого космического облучения с целью выведения более устойчивой к нему человеческой особи.

Я раскрыл ебало, как ты сейчас, ничего не понимаю, но смотрю. Малофейку мою в тоненькой стекляшке заложили в какую-то камеру. Кимза орет: “Разряд!” — а мне страшно и жалко малофейку. Ты представь: нейтрон этот несется, как в жопу ебанный, и моего родного живчика Николая Николаевича — шарах между рог! А он и хвостик в сторону. Надо быть извергом, чтобы спокойно чувствовать это. Я зубы сжал, еще немного — распиздошил бы всю лабораторию. Тут вынимают мою малофейку, смотрят в микроскоп, а она ни жива, ни мертва, и в газ суют для активности. Потом отделили одного живчика от своих родственничков и в искусственную поместили матку. Господи, думаю, куда же мы забрели, если к таким сложностям прибегаем. Кто эту выдумал науку? Пойду я лучше по карманам лазить в троллейбусе “Букашка” и в трамвае “Аннушка”. Особенно зло меня разобрало на эту матку искусственную. Шланги к ней разные тянутся, провода,

сама блестит, стрелками шевелит, лампочками, сука такая, мигает, а рядом четыре лаборантки вокруг нее на цирлах бегают, и у каждой по матке, лучше которых не придумаешь, хоть у тебя во лбу полметра с дюймом. И поместили туда Николая Николаевича! А что если он выйдет оттуда через девять месяцев, а глаз у него правый нейтроном выбит, и ноги кривые, и одна спина короче другой, и вместо жопы — мешок, как у кенгуру? А? Чую — говно ударило в голову. Хорошо, Влада Юрьевна спросила:

— Вы о чем задумались, Николай?

— Так. Прогресс обсуждаю про себя, — говорю и в обе фары уставился на нее, сердце стучит, ноги подгибаются, дыханья нет: любовь! Беда!

Вечером беру спирт, закусон и иду на консилиум к международному урке.

— Так и так, — говорю, — что делать?

— Не с твоим кирзовым рылом лезть в хромовый ряд. На этом деле грыжу наживешь и голой сракой об крашенный забор ебнешься, — говорит урка. — Забудь любовь, вспомни маменьку.

— Пошел ты на хуй малой скоростью, — говорю.

— Хороший ответ, молодец. Вот если бы так в райсо-бесе отвечали, то и никакой бюрократии в государстве бы не было. А то с пенсией тянут, тянут. Патриотизма в них ни на грош.

Урка пенсию по инвалидности хлопотал. Он, видать, задумался, приуныл. Я и покандехал к дому. В сердце сплошной гной. Впору подсесть и перезимовать в Таганке всю эту любовь. Мочи нет. И даже не думаю, есть у Влады муж или нет его, насрать мне на все, глаза на лоб лезут, и учти, дело не в половой проблеме. Бери выше. Ночь не спал, ходил, голову обливал из крана, к Кимзе постучал.

Он не пустил. Может, спал? Утра не дождусь. Как назло, часы встали. Прибегаю, а в лаборатории все Владу Юрьевну с чем-то поздравляют, руки трясут, в руках у нее букет, она головой кивает по-княжески, с высоты, увидала меня, подходит и дает цветочек. Кимза же, заметил я, плачет тихо, слезы текут.

— Николай! Для вас это тоже праздник своего рода. — У меня рыло перекосило шесть на девять, и что бы ты думал? Оказывается, Влада Юрьевна попала от меня искусственно первый раз, то ли в РСФСР, то ли во всем мире. “Как? Как?” Ну и олень ты сохатый. На твои рога только кальсоны сраные вешать, а шляпу — большая честь. Голодовку объявлял когда? А я объявлял. Меня искусственно кормили через жопу. Ну и навозились с ней граждане начальнички! Только воткнул трубку с манной кашей, а я как перну — и всех их с головы до ног. Они меня сапогами под ребра, по пузу топают, газы спускают и опять в очко загоняют кашицу или первое, уж не помню. А я опять поднатужусь, кричу: “Уходи! Задену!” — их как ветром сдуло. Откуда во мне бздо бралось — ума не приложу. От волонтаризма, наверное. А может, от стального духа. Веришь, перевели меня из Казанской тюрьмы в Таганку, чего и добивался. Похудел только.

Короче, Владе Юрьевне Кимза вставил трубочку, и по трубочке мой Николай Николаевич заплясал на свое место. Вот в какую я попал непонятную, сука, историю. Не знаю, как быть и что говорить. Только чую: скоро чокнусь. Мне бы радоваться как папаше будущему и мать своего ребенка зажать и поцеловать, а я в тоске и, думаю, ебись ты в коня, вся биология, жить бы мне сто лет назад, когда тебя не было. Чую: скоро чокнусь, смотрю на Владу Юрьевну, вот она, один шаг между нами и не перейти его. А в ней ни жилка не дрогнет, ни жилочка. Сфинкс. Тайна.

Вроде бы ей такое известно, до чего нам не допереть, если даже к виску отбойный молоток приставить. Однако беру психику в руки.

— Вы, Николай, не смущайтесь и ни о чем не беспокойтесь. Если хорошо кончится — вы дадите ему имя. Я вас понимаю... все это немного грустно. Но наука есть наука.

9

Я, чтобы не заплакать, ушел в свою хавирку, лег, мечтать начал о Владе Юрьевне, привык на нарах таким манером себя возбуждать, мастурбирую и “Далеко от Москвы” читаю. В лаборатории вдруг какой-то шум, я быстро струхнул в пробирку, выхожу, несу ее в руке. А там, блядь, целая делегация. Замдиректора, партком, начкадрами, и какие-то не из биологии люди. Приказ читают Кимзе. Лабораторию упразднить. Кимзу и Владу Юрьевну уволить. Лаборанток перевести в уборщицы, а на меня подать дело в суд, ни хуя себе, уха, за очковтирательство, прогулы и занятия онанизмом, не соответствующие должности технического референта. А за то, что я уборщицей был по совместительству, содрать с меня эти деньги и зарплату до суда заморозить. Я как стоял с малофейкой в руке, так и остался стоять. Ресничками шевелю, соображаю, какая ломается мне статья, решил уже — сто девятая. Злоупотребление служебным положением. Часть первая. А замдиректора еще чего-то читал про вредительство в биологической науке и как Лысенко их разоблачил, насчет империализма-менделизма и космополитизма. Принохиваюсь. Родной судьбой запахло, потянуло тоскливо.

Судьба моя пахнет сыро, вроде листьев осенних, если под ними еще куча говна собачьего с прошлого года лежит.

— Вот он! Взгляните на него! — Замдиректора пальцем в меня тычет. — Взгляните, до каких помощников опустились наши горе-ученые, так любившие выдавать себя за представителей чистой науки. Чистая наука делается чистыми руками, господа менделисты-морганисты!

Челюсть у меня — кляцк! Пиздец, думаю! Тут, кроме собственной судьбы, еще и политикой чужой завоняло. Сходу решаю уйти в глухую несознанку. С Менделем я не знаком. На очной ставке так и скажу, что в первый раз в глаза вижу и что я таких корешей политанией вывожу, как лобковую вшу. А насчет морганизма прокурору по надзору заявлю, что в морге моей ноги не было и не будет и мне неизвестно, ебал кто покойников или не ебал. Чего-чего, а морганизма, сволочи, не пришьете! За него же дают больше, чем за живое изнасилование! Это ты уж, кирюха, у прокурора спроси, почему, извилина у тебя одна и та на жопе, причем не извилина, а прямая линия. Не перебивай, лох позорный. Гуляй по буфету и слушай... Прибегает академик, орет: “Сами мракобесы!” — А замдиректора берет у истопника ломик и шарах этим ломиком сплеча по искусственной пизде!

— Нечего, — говорит, — на такие горе-установки народные финансы переводить! — Малофейку у меня из руки вырвал и выбросил, гад такой, в форточку. Из этого я вывел, что он уже не зам, а директор всего института. Так и было. Кимза вдруг захохотал, академик тоже, Влада Юрьевна заулыбалась, народу набилось до хера в помещение. Академик орет:

— Обезьяны! Троглодиты! Постесняйтесь собственных генов!

— У нас, с вашего позволения, их нету. У нас не гены, а клетки! — отбрил его замдиректора. — Признаетесь в ошибках?

Потом составляли кому-то приветствие, потом на заем подписывались, и меня дернули на заседание ученого совета. И вот тут началась другая судьба, убрали говно собачье из-под осенних листьев. Выкинул я его своими руками. Но по порядку. Поставили меня у зеленого стола и вонзились. Мол, зададут мне несколько вопросов, и чем больше правды я выложу, тем лучше мне будет как простой интеллигентной жертве вредителей биологии. Задавать стал замдиректора.

— В каких отношениях находился Кимза с Молодиной? Писал ли за нее диссертацию и оставались ли одни?

Но по порядку. Я тебе разыграю допрос.

— В отношениях, — говорю, — научных. На моих глазах не жили.

— Говорил академик, что сотрудники Лепешинской только портят воздух?

— Не помню. Воздух все портят. Только одни прямо, а другие исподтишка.

— Вы допускали оскорбительные аналогии по адресу Мамлакат Мамаевой?

— Не допускал никогда, уважал с детства. Имею портрет.

Я сразу усек, что донос тиснула одна из лаборанток. Больше некому. Валя, псина.

— Кимза обещал выдать вам часть Нобелевской премии?

— Не обещал.

— Кто делал мрачные прогнозы относительно будущего нашей планеты?

— Не помню.

— Как вы относились к бомбардировке вашей спермы нейтронами, протонами и электронами?

— Сочувственно.

— Обещал ли Кимза сделать вас прародителем будущего человечества?

— На хуй мне это надо? — завопил я. — Первым по делу пустить хотите?

— Не материтесь. Мы понимаем, что вы жертва. Что сказал академик относительно сталинского определения нации?

— По мне все хороши, лишь бы ложных показаний на суде не давали. Что жид, что татарин.

— Почему вы неоднократно кричали? Вам было больно?

— Приятно было, наоборот.

— Вам предлагали вивисекцироваться?

— Нет, ни разу.

— Вы знаете, что такое вивисекция?

— Первый раз слышу.

— В чем заключалась ваша... ваши занятия?

— Мое дело прочить и малофейку отдавать. Больше я ничего не знаю. Действовал по команде: внимание — ор-газм! Как услышу, так включаю кожаный движок.

— Как относились сотрудники лаборатории к Менделю?

— Им вообще плохо. Неля даже говорила, что они во время войны узбеком в Ташкенте взятки давали и вместо себя в какой-то посылали Освенцим. И что ленивые они. Сами не воюют, а дать себя убить — пожалуйста.

— Кем проповедывался морганизм?

Началось, думаю, самое главное, и вспомнил, как Влада Юрьевна говорила: “Что было бы, Николай, если

бы дядя Вася в морге рыдал над каждым трупом?" Сход стемнил.

— Что это за штука, морганизм?

— Вам этого лучше не знать. Кто с уважением отзывался о космополитах?

— Кто это такие? Первый раз слышу.

— Выродки! Люди, для которых не существует границ.

Пиздец, думаю, надо будет предупредить международного урку вечером.

— Сколько часов длился ваш рабочий день и сколько спирта вы получали за свою трудовую деятельность?

Ну, думаю, пора принимать меры. Косить надо. Затрясся я, надулся до синевы, подбегаю к другому концу стола и — хуяк в рыло замдиректору полную чернильницу чернил. А она в виде глобуса сделана. Хуяк, значит, и — в эпилепсию. Упал, рычу, пену пускаю. Ногами колочу, начкадрами по яйцам заехал, кто-то орет:

— Язык ему надо убрать, задохнется, зубы быстрее разожмите чем-нибудь железным!

Кто-то сует мне между зубов часы карманные. Я челюстью двинул, они и тикать перестали. Глазами вращаю бессмысленно. Эпилепсия — первый класс по Малому театру. Перестарался, подлюга, затылком ебнулся об ножку стола и начал затихать постепенно. А они вокруг меня держат совет, чтобы сор из избы не выносить, западу пищу не давать. "Скорую помощь" вызвали.

— Этого я никогда не ожидал от своей бывшей жены, — сказал замдиректора — вся рожа и рубашка в чернилах, — хотя о ее связи с Кимзой догадывался. Она просто мелкая извращенка. С сегодняшнего дня мы разведены.

Ну уж тут я чуть не вскочил с пола, однако сдержался. А "скорая помощь", ее за смертью, сволочь, посылать, все

не едет. Я опять забился, потом притих и говорю: “Воды-ы! Где я?” — Отплювываясь сам почему-то чернилами, с губы пена фиолетовая капает, шатаюсь с понтом, все болит. Мне говорят, чтобы не нервничал, работу обещали подыскать, воды подали, на Кимзу заявление просили сочинить и вспомнить, приносил ли он на опыты фотоаппарат. “Скорая” так и не приехала. В общем, они перебздели из-за меня.

10

Я только вышел из института, беру такси и рву к дому Влады Юрьевны. В голове стучит, ни хуя себе, уха!.. Евонная жена она... ни хуя себе, уха... ах ты сука очкастая! И жалко мне, что чернильница была глобусом, а Земля наша не квадратная. В темячко бы ему до самого гипоталамуса, гнида, острым краем. Такую парашу пустить про лучшую из женщин! “Мелкая извращенка”!

Подъезжаю, блядский род, к ее дому, шефу говорю: “Стой и жди”. Сам квартиру нашел, звоню. Открывает она, Влада Юрьевна, слава тебе, Господи!

— Николай, почему у вас все лицо в чернилах?

— Ваш муж бывший допрашивал. Но я не раскололся и никого не продал.

— Ах, он успел публично отказаться от менделистки-морганистки? Заходите. Собственно, я сама ухожу. Уже собрала вещи.

Короче говоря, тут уж я не таился и говорю: “Едемте ко мне, не думайте ничего такого, я один живу, могу и у приятеля пошивать, а вы будьте как дома”.

— Едемте, — отвечает, — но ведь вы с Толей в одной квартире живете...

— Ну и что? — кричу и чемодан беру уже за глотку.

Жил я тогда один. Тетку мою месяцев шесть как захомутали. Ее, если помнишь, паспортный стол ебал, она и устраивала через него прописки. За деньгу большую. И погорела. Один прописанный шпионом оказался. А эти падлы не то, что мы, которые всю дорогу невсознанке. Раскололся и тетку продал. Дедка за репку, бабка за папку. Тетка продала своего, тот разговорился. Трясанули яблоньку и всех, кого они прописали, выселять начали. Между прочим, тетке я кешари каждый месяц шлю и деньгами тоже. Хуй, в беде оставляю. Значит, едем мы в такси, она мне ваткой чернила на ебальнике вытирает, а у меня стоит от счастья, никто еще за чистотой моей не следил. Никогда. Любили меня неумытого на сплошных раскладушках. Романтиком я был. Всегда в пути, как сейчас говорят. И оказывается, Влада Юрьевна еще до войны студентами крутила с Кимзой роман. Но целку до диплома он ей ломать не хотел. Так я понял. Тут война. Кимзу куда-то в секретный ящик загнали, бомбу делать или еще что-то. Года через два появляется он весь облученный от муде до глаз, и, сам понимаешь, на такую пиписку только окуньков в проруби ловить, и то не клюнет. Трагедия. Хотели оба травиться. А Молодин, замдиректора, уговорил как-то Владу Юрьевну. Хули, действительно, вешаться? И Кимза ей согласие дал. Она мне зачем рассказала-то? Чтобы я с ним был вежливый и сожалительный. Чтобы матом не ругался. Она бы в его комнате жила, но боится, Кимза запьет от тоски, что с ним уже случилось. Приехали. Сгрузили вещички. Я и рассудил, как проводник: надо спускаться на тормозах. Взял бельишко и говорю Владе Юрьевне:

— Поживу у кiryохи, а вы тут не стесняйтесь: за все заплачено. — И пошел к международному урке.

Спиртяги взял. Лабораторию прикрыли. Завтра не дрончить. Можно и нажраться. Выпили. Предупредил я его, чтобы поосторожнее рассказывал, как за границу перепрыгивал до тридцатого года в экспрессах. А то космополитизм пришьют. И бедный мой урка международный совсем до слез приуныл. Он же, говорит, три языка знает и четыре “фени”. Польский, немецкий и финляндский. Правда, на них его только полиция понимает и проституция, но и так бы он Родине сгодился чертежи какие пиздануть из сейфа у Форда или дипломата молотнуть за все ланцы и ноты дипломатические. Ты знаешь, лох, говорит урка, сколько я посольств перемолотил за границей? В Берлине брал греческое и японское, в Праге, сухой мне быть, — немецкое и чехословацкое. Но в Москве — ни-ни! Только за границей. Я ведь что заметил: когда прием и общая гужовка, эти послы, ровно дети, становятся доверчивыми. В Берлине я с Феденькой-эмигрантом — он шоферил у Круппа — подъезжал к посольству на “мерседес-бенчике”. На мне смокинг и котел, чин-чинарем. Вхожу, — говорит урка, — по коврам в темных тапочках на лесенку, по запаху канаю в залу, где закуски стоят. Самое главное в нашей работе — это пересилить аппетит и тягу выпить. А послы мечут за обе щеки. На столе — поросята жареные, колбасы отдельной — до хуя, в блюдах фазаны лежат, все в перьях цветных, век мне свободы не видать, говорит, если не веришь. Попробуй тут удержишься, — слюни, как у верблюда, текут, живот подводит... В Берлине вшивенько тогда с бациллой было. Все больше черный да

черствый. Но работа есть работа — просто так щипать* я и в Москве мог. Выбираю посла с шеей покрасней и толстого. Худого уделять трудно, он, как необъезженный, вздрагивает, если прикоснешься, и глаза косит, тварь. Выбираю я его, с красной шеей, в тот момент, когда он косточку обглаживает поросячью или же от фазана. Обглаживает, стонет, вроде кончает от удовольствия, глаза под хрустальную люстру вываливает, падаль. Объяви ты его родному государству войну — не оторвется от косточки. Тут-то я, говорит урка, левой вежливо за шампанским тянусь, а правой беру рыжие часы или лопатник с валютой. Куда там! Исключительно занят косточкой. Теперь вся воля нужна, чтобы отвалить от стола с бациллой. Отваливаю. Феденька уже кнокает меня у подъезда. Подает шестерка котелок. Я по-немецки выучил, трекаю — себя называю. Другой шестерка орет: “Машину статс-секретаря посольства Козолупии!” Феденька выруливает и мы солидно рвем ужинать. Нагло работали. Кому я мешал? Я же враждебную дипломатию подрывал и даже не закусывал. И запел урка: “На границе тучи ходят хмуры”. А я сижу, слушаю и забываюсь. Подольше бы говорил. Посоветовал ему в чека написать, попроситься. Он говорит, что уже написал и ответ пришел: ждать, когда вызовут. Я ему не поверил. Что такое морганизм, спрашиваю, знаешь? И рассказываю, как мне его пришить хотели. Международный урка загорелся сходу, забыл свои посольства и экспрессы, пошли, говорит, возьмем их с личным! Пошли в морг! А во мне такая любовь и тоска, что я согласился. Поддали для душка и тронулись. Морг этот за нашим институтом во дворе находился. Дача зимняя. Окна до половины, как в бане, белилами замазаны. Свет

* быть карманником

дневной какой-то бескровный горит — в трех с краю. Встали мы на цыпочки и давай косяка давить. Никого нет, кроме покойников. Лежат они голые, трупов шесть, и с ихних бетонных кроватей вода капает. Обмывали. А в проходе шланг черный, змеей из стороны в сторону вертухается — вода из него хлещет. Дядя Вася, видать, выключить забыл. Не поймешь, — где баба, где мужик, да и все равно это. Ноги у меня подкосились от страха и слабости. Ничего нет страшней для меня, карманника, когда человек голый и нет на нем карманов. На пляже я не знаю, куда руки девать. В бане, блядь, особенно безработицу чувствую. Но там хоть голые, без карманов, но живые, а тут мертвые. Полный пессимизм. А международный урка прилип к окну — не оторвешь. Прижег я ему голяшку сигаретой — сразу оторвался, разъебай. Хули, говорю, подъезд раскрыл, нет тут ни хуя интересного. А он уперся, что, мол, наоборот. И что как угодно он может себя представить и в Монте-Карло, где он ухитрился спиздить у крупье лопаточку, что деньги гребет, — на хера ее только пиздить, неизвестно, — и в спальней посла Японии в Копенгагене, и в Касабланке, где он на спор целый бордель перебал, девятнадцать палок кинул, пять долларов выиграл, и в Карлсбаде в тазике с грязью, ну где хочешь, там он и может себя представить. А в морге, говорит, век мне свободы не видать, изрубить мне залупу на царском пятачке в мелкие кусочки, не могу — и все. Вот загадка! Смотрю и не могу. И лучше не надо. Эту границу никогда не поздно перейти. А пока хули унывать!

Еще поддали... Сидим в кустах, как лунатики, и поддаем. Я и плакать тогда начал, ковыряю в дупле спичкой и реву, сукоедина, как гудок фабрики имени Фрунзе. Международный урка думает, что я трупов перебздел, нервишки не выдержали, а у меня одно на уме. “Я, — го-

ворю, — смерть ебу, понял?” “Ты-то, — говорит урка, — ее ебешь, а она с тебя не слазит, мослами прищпоривает!” Тут я не выдержал и раскололся урке, что мою малофейку без моей помощи перевели в организм Владе Юрьевне и попала она впервые в историю. Как быть? Может, ковырнуть, а я уж сам по новой накачаю? Или идти в роддом с кешарем и букет из ЦПКиО спиздить? Как я дитя на руки возьму и баюкать буду? У меня, чую, компас неполноценности начинает вздрагивать. Зачем это они выдумали, бляди, разве не смог бы я просто так палку кинуть? Со своей-то злой малофейкой? И чего оргазму пропадать? Я, сучий мир, еще, слава Богу, не машина, и муде у меня сварное, а не на гайках. Правильно, думаю, Молодин-замдиректора ломиком пиздятину искусственную раскурочил, одно мокрое место от нее осталось — ебанный нейтронами Николай Николаич. Обидно мне. Как быть? Урка слушает, хохочет. Такой прецедент был, говорит, у нас в Воркуте. Один фраер пятерку волок, год остался, приезжает к нему баба на свидание с пацаном двухлеткой. Он ее с вахты вытолкал и разгонять начал. “Падла, такая-сякая, проститутка, меня тут исправляют, а ты ебешься с кем попало, алиментов захотела, шантажистка!” Тут даже опер наш возмутился. “Такая нахаловка, — говорит, — товарищ Ляпина, у нас не прохазает. Мы на стороне заключенных, а личных свиданий у вас не было ни одной палки, потому что муж ваш, фашистская сволочь, картежник, отказник и саботажник. Идите на хуй, откуда явились!” Баба — в слезу. Доказывает: прихдидил Ляпин в командировку, пилил и слова говорил. А Ляпин кричит: “Конвой! Бей по ней прямой наводкой! Пускай, сука, проверяет деньги, не отходя от кассы! Шантаж!” С тем баба и уехала. А ведь Ляпин, сволочь, в побег по натуре ходил. Я один знал. Нас тогда не считали даже. Мороз

сорок пять градусов, жрать нехуя и убежать некуда. А Ляпин бегал. И все с концами. Наебется, как паук, и обратно чешет. Талант громадный был. Из Майданека бегал, не то что с Воркуты. Я, говорит, поебаться бегу, так как дрочить не уважаю из принципа. Такого человека любая разведка разорвала бы на части. Я говно по сравнению с ним.

Много еще чего натрекали мы с уркой друг другу. В морг так никто не приходил похариться.

12

По утрянке заваливаюсь домой... Ты пей, кирюха, скоро конец, самое интересное начинается, а я поссать сбегаю. Ладно, иди ты первый. Я постарше — потерплю. Ну вот. Ведь правда, скажи ты мне, как хорошо, если ссышь и не щиплет с резью, если, к примеру, жрешь и запором не мучаешься, принесет баба с похмелья кружку воды, а ты ей в ножки кланяешься и, блядью мне быть, не знаешь, что лучше — вода или баба. И она загадка, и вода — тоже. Ведь ее Господь Бог по молекуле собирал, да по атому, два водорода — один кислород. А если лишний какой, то пиздец — уже не опохмелишься. Чудо! Или воздух возьми. Ты об нем когда думаешь? Вот и главное. “Хули думать, если его не видно”. А в нем каких газов только нет! Навалом. И все прозрачные, чтобы ты, болван, дальше носа своего смотреть мог, тварь ты, Творцу нашему неблагодарная, жопа близорукая. “Не видно!” Вот и нужно, чтобы нам, людям, думать побольше о том, чего не видно. О воздухе, о воде, о любви и о смерти. Тогда и жить будем радостно и благодарно. Не жизнь, чтоб мне сгнуть, а сплошная амнистия!.. Заваливаюсь я по утрянке домой, а Влада Юрьевна лежит бледная на моем ди-

ван-кровати. Рядом — Кимза, пульс щупает. Что такое? Выкидыш. Не удержался Николай Николаевич, не видать Кимзе мирового рекорда для своей науки. На нервной почве все получилось. Замдиректора Молодин додул, что у Кимзы она, прикандохал с повинной. Для служебного положения он, видишь ли, не мог не разводиться. А жить, мол, можно и так. Ебаться, в смысле. Не то — пригрозил донести, что развращает в половых извращениях недоразвитого уголовника, то есть меня, и через меня же вырастить для космоса миллион низколобых задумала с Кимзой. Так я понял. Кимза головой его в живот боднул и теткиной спринцовкой отхерачил. Влада Юрьевна и выкинула, когда мы с уркой надрались у морга. Я за ней, как за родной, шестерил. Икры тогда еще до хера в магазинах было и крабов. Я утром проедусь на “Букашке” и — в Елисеевский, купить что-нибудь побациллистей. Ночью по два раза парашу ее выносил в галюун. Ведь по нашему большому коридору ходить опасно было. Сосед Аркан Иванович Жаме к бабам приставал, через ванную в окошко заглядывал, но трогать не трогал. Стебанутый был на сексуальной почве. Подслушивал, как ссут, и подсматривал. Он же и стучал участковому, что в квартире творится. Особенно на Кимзу. Как он в галюуне хохочет над чем-то. И Кимзу в чека дергали. А Кимза сказал:

— Смешно мне, гражданин начальник, оттого, что я человек, царь природы, разум у меня мировой и вынужден, однако, сидеть в коммунальном сортире и срать, как орангутанг какой-нибудь.

Отбрил, в общем, чека. Короче говоря, выходил я Владу Юрьевну. Ходить уже начала, а я-то сколько уж сижу на голодной птюхе, надроченный на работе и наебанный в гостях. Верись, яйцо одно неделю ломило и распухло. Я пошел в одну гостиницу, гранд-отель, помацать, что с

ним. Там в прихожей зеркало было во весь рост. Подхожу, вынимаю, и, ебить твою мать, цветное кино! Яйцо-то мое все серо-буро-малиновое. Тут швейцар подбежал — седая борода и нос, что мое яйцо. Шипит в ухо, в бок тычет:

— Рыло! Гадина! Разъебай! На три года захотел? Запахивай! Франция, эвона, на тебя смотрит!

Гляжу, а на лестнице бабуся стоит, наштукатурилась, аж щеки обвисли, и, ебало раскрывши, за мной наблюдает, фотоаппарат наводит. Швейцар подмышку меня и на выход. Все еще шипит:

— Деревня хуева! Ты бы лучше в музей сходил! Для того ли в Москву приехал!

Я у него за такие речуги червонец из скулы взял и ему же на чай дал. Залыбился, гнида.

— Заходите, — говорит, — дорогие гости, всегда рады!..

Вот какое состояние у меня было. Но характер имею такой: решение принимаю, когда пора хуй к виску ставить и кончать существование самоубийством. Кемарил я на полу. Один раз не выдержал, рву кальсоны на мелкие кусочки, мосты за собой сжигаю. Встал на колени, голову в ее одеяло и говорю: не могу пытку такую терпеть — или помилуйте, или кастрируйте. И что она мне отвечает? Не удивилась даже. Что ей отжаться не жалко, только ничего не выйдет. Она — фригидная... Не путай, мудило, с рыбой фри... И кончать, мол, не может. Ей все равно. Так и с замдиректора жила, и если он залазил на нее — только рыло воротила и брезговала. Но муж есть муж, хоть и залазил он раз в месяц. Стою на коленях, уткнувши лицо в ее одеяло, и дрожу. А она говорит:

— Вам Николай, лучше с рыбой переспать, чем со мной. Такая женщина, как я. для мужчины — одно оскор-

бление. Только не думайте, что жалко. Пожалуйста, ложитесь, снимайте тапочки.

Ну, думаю, Коля-Николай, никак нельзя тебе жидко обоссаться, никак... Ух, давай выпьем!.. Как сейчас, многого не помню. Не до разглядываний было, разглаживаний и засосов. Не помню, как начал, только пил и урку международного вспоминал. Тот учил меня, что каждая баба вроде спящей царевны, и нужно так и шарахнуть членом по ее хрустальному гробику, чтобы он на мелкие кусочки разбился и один кусочек-осколочек у бабы в сердце застрял, а другой у тебя в залупе задумался. Взял себя в руки. И чую вдруг такую ебитскую силу, что забиваю не то чтобы серебряным молоточком, а изумрудной кувалдой заветную палочку. И что не хуй у меня, а целый лазер. И, веришь, что не двое нас чую, а кто-то третий, не я и не она, но с другой стороны — мы же сами и есть. Ужас, кошмар, я тебе скажу, — было страшно. Вдруг отскочит мой единственный от ее хрустального гробика и не совладает с фригидностью? Чтоб она домоуправшу нашу прохватила, падаль. Как сейчас, многого не помню, но додул все ж таки, что не долбить надо, как отбойным молотком, а тонко изобретать. Видал в подарках Сталину китайское яйцо? А в нем другое, а в другом еще штук десять. И все разные, красивые и нигде не треснутые. Видал. Так вот, додул я, что пилить Владу Юрьевну надо ювелирно. А она и в натуре, как рыба, дышит ровно, без удовольствия. “Вот видите, — говорит, — Николай, вот видите?” И я чуть не плачу над спящей царевной, но резак мой не падает. Век буду его за это уважать и по возможности делать приятное. Отчаялся уж совсем в сардельку, блядь. И вдруг что я слышу и чую!

— О, Николай! Этого не может быть! Этого не может быть! Не может быть, не может! — И все громче и громче.

и дышит, как паровоз “ФД” на подъеме, и не замолкает ни на секундочку.

— Коля, родной, не может этого быть! Ты слышишь, не может!

А я из последних сил рубаю, как дрова в кино “Коммунист”. Посмотри его, посмотри обязательно, кирюха ты мой. За всех мужиков земли и прочих обитаемых миров рубаю, и в ушко ей шепчу, Владе Юрьевне: “Может, может, может!” И вдруг она в губы впиалась мне и закричала: “Не-е-е-т!” В этот момент я — с копыт. Очухиваюсь — у нее глаза закрыты, бледная, щеки горят, лет на десять помолодела. Она на столько старше меня. Лежит в обмороке. Я перебздел — вроде и не дышит. Слезая и бегу, в чем был, за водой на кухню, забыл, что без кальсон, и налетаю на Аркан Иваныча Жаме в коридоре. Прямо мокрым хером огулял его сзади, стукача позорного. Он — в хипежь. “Посажу, уголовная харя, ничтожество!” Это я-то ничтожество, который женщину от вечного холода спасал? Я ему еще поджопника врезал, завтра, говорю, по утрянке потолкуем. Прибегаю с водой, тряпочку на лоб и ватку с нашатырем. И тут открывает она глаза и смотрит и не узнает вроде, ты мне родной, говорит. Я лег рядом, обнял Владу Юрьевну и думаю: пиздец, теперь только ядерная заваруха может нас разлучить, а никакое другое стихийное бедствие, включая мое горение на трамвае “Аннушка” или троллейбусе “Букашка”. Утром приходит к нам Кимза с бутылкой в руке, пьяный, рыдает, целует меня и альтерэгой называет, хохочет. Я вышел. Оставил его с Владой Юрьевной. Они поговорили — он с тех пор успокоился. Но по пьянке альтерэгой все равно называет.

Живем. Все хорошо. У замдиректора я два раза всю получку уводил. Кимза микроскоп домой притаранил, с реактивами всякими — опыты продолжать. “Наука, —

говорит, — пешеход, и ее свистком хуй остановишь. Придется тебе, Николай, драть хоть изредка, чтобы нам время не терять”.

— Платить, — спрашиваю, — кто будет? МОПР?

— Продержимся, — говорит Влада Юрьевна, — а сперма нам необходима хоть раз в неделю.

Ну, мне ее не жалко. Чего-чего, а этого добра хватало на все. Про любовь я тебе пока помолчу. Да и не запомнишь ее никак. Поэтому человек и ебаться старается почаще, чтобы вспомнить, чтобы тряснуло еще раз по мозгам с искрою. Одно скажу, каждую ночь, а поначалу и днем, мы оба с копыт летали, и кто первый шнифтом заворачивает, тот другому ватку с нашатырем под нос совал. А как прочухиваюсь, так спрашиваю:

— Ну как, Влада Юрьевна, может это быть?

— Нет, — говорит, — не может. Это не для людей такое прекрасное мгновение и, пожалуйста, не говори отвратительного слова “кончай”, когда имеешь дело с бесконечностью. Как будто призываешь меня убить кого-то.

А я говорю: тут бабушка надвое сказала — или убить или родить. О чем мы еще говорили — тебе знать нехера. Интимности это.

13

А время идет... Уже морганистов разоблачили, космополитов по рогам двинули, Лысенко орден получил. Кимза пенсию отхлопотал. Влада Юрьевна старшей сестрой в Склифосовского поступила, я туда санитаром пошел. Тяжелые времена были. На “Букашке” меня, как рысь, обложили, на “Аннушке” слух пошел, что

карманник-невидимка объявился. Сам слышал, как один хер моржовый смеялся, что, мол, если я невидимка, то и деньжата наши тоже невидимками заделались. Плохо все. Еще Аркан Иваныч Жаме шкодить стал. Заявление тиснул, что Влада Юрьевна без прописки, и цветет в квартире половой бандитизм, по ночам с обнаженными членами бегают. Вот блядище! А тронуть его нельзя — посадят! Я б его до самой сраки расколот, а там бы он сам рассыпался. По утранке выбегает на кухню с газетами и вслух политику хавает:

— Латинская Америка бурлит, Греция бурлит, Индонезия бурлит! — А сам дрожит от такого бурления, вот-вот кончит, сукоедина мизерная. — Кризис мировой капиталистической системы, слышите, Николай! — А сам каждый день по две новых бабы водит. Он парикмахер был дамский. И вот из-за него, гадины, меня дернули на Петровку, 38. Майор говорит:

— Признавайся сходу — занимаешься онанизмом?

Первый раз в жизни иду в сознанку.

— Занимаюсь. Только статьи такой нет — кодекс наизусть знаем.

У него шнифты на лоб:

— Зачем?

— Привык, — говорю, — с двенадцати лет по тюрьмам ошиваюсь.

— Есть сигнал, что в микроскоп ее рассматриваете с соседом.

— Рассматриваем.

— Зачем, с какой целью?

— Интересно, — говорю. — Сами-то видали хоть раз?

— Тут, — говорит, — я допрашиваю. Чего же в ней интересного?

— Приходи, — приглашаю, — покнокаешь.

Задумался.

Отпустил в конце концов. Все равно бы ему на мой арест санкции не дали. А тебе, Аркан Иванович Жаме, думаю, я такие заячьи уши приделаю, что ты у меня будешь жопой мыльные пузыри пускать с балкона. Дай только срок. Я тебе побурлю вместе с Индонезией!

Работали мы с Владой Юрьевной в одну смену. Таскаю носилки, иногда на “скорой” езжу. И что-то начало происходить со мной. Совсем воровать перестал. Не могу, и все. Заболел что ли. Или апатия заебла. Не усеку никак. Потом усек. Мне людей стало жалко, таких же, вроде меня, двуногих. Ведь чего только я ни посмотрелся из-за этих людей! Видал и резаных, и простреленных, и ебнутых с девятого этажа, и кислотой облитых, и сотрясение мозгов... А один мудака кисточку для бритвы проглотил, другой бутылку съел четвертинку, третий сказал бабе: будешь блядовать — ноги из жопы выдерну. И выдрал одну, другую соседи не дали. Я ее на носилках нес. А под машины как попадает наш брат и политуру жрет с одеколоном. До слепоты ведь! А тонет сколько по пьянке, а обвариваются! Ебитская сила, такие людям мучения! И вот, допустим, думаю я, если человеку так перепадает, что и режут его, и печенки отбивают, и бритвой моют по глазам, и из жопы ноги выдергивают, то что же я, тварь позорная, пропало с бельмом, еще и обворовываю человека? Не может так продолжаться! Завязал. Полегчало. Даже в баню стал ходить. А Аркан Иваныч Жаме вдруг заболел воспалением легких. Попросил Владу Юрьевну за деньги уколы колоть и целый курс витаминов. И тут я сообразил, что надо делать. Уколы я сам к тому времени насобачился ставить. Надо сказать откровенно, кирюха, Аркан Иваныч был уродина человеческая. Весь в волосне рыжей, сивой и густой, от пяток до ушей. Уколы на жопе не сделаешь. При-

шлось брить. Уж я его помучил без намыливания, поскреб, лежи, говорю, не бурли. По биологии я уже кое-что петрил и сообразил: вот кто половой бандюга, а совсем не я. Слишком много силы в яйцах у Аркан Иваныча Жаме. Слишком много! Оттого ты, сука, и в парикмахеры женские подался и подкнукиваешь, как соседи законное половое сношение совершают, гуммозник прокаженный, и по две бабы непричесанных приводишь, и политику хавашь, чуть не кончаешь, когда колонии бурлят, тварь. Гормона в тебе до хуя лишнего, чирей. Короче говоря, достал я препарата тестостерона или еще какого-то и цельный месяц колол Аркан Иваныча Жаме. Препарат же тот постепенно мужика в бабу превращает без всякого понта. Наблюдения веду. Смотрю, у моего Аркан Иваныча Жаме движения помягче стали, мурлычет чего-то, в почтовый ящик третий день не лазит, сволочь, и по телефону не рычит, как раньше, и плешь бритая на жопе не зарастает, гормон на волосню, значит, подействовал.

— Коленька, кисуля, — просит, — побрей меня всего, хочу быть, наконец, голый.

— Ну уж это я ебу, — говорю, — бесплатно тебя брить.

— Я заплачу, не постою.

— Двести рублей.

Дает. Три тюбика мыльной пасты выдавил на него, две пачки лезвий на него потратил. Побрил. Раз завязал и не воруя, то и так не грех зарабатывать копейку. Поправляться стал Аркан Иваныч Жаме. Лицом побелел, в бедрах раздался, ходит по коридору, плечами, как проститутка, поводит, глаза прищуривает, перерожденец сраный. Картошку чистит и поет: “Я вся горю, не пойму от чего-о-о”. Даже страшно. Стал я в кодексе рыться, статью такую искать за переделку мужика в бабу. Не на-

шел. Решил, что подведут под тяжелые телесные. А он меня уже клеить начал: потри спину рукой, и массаж заделай, плачу по высшей таксе. Тысяч пять старыми я верняком содрал с него. Один раз ночью подстерег в коридоре, в муде мое вцепился и в свою комнату тащит. Я ему врезал в глаз, он успокоился. Сейчас из дамской в мужскую парикмахерскую ушел.

14

А тут Сталин дал дубаря. Пробрался я к международному урке. Он на Пушкинской жил. Свесились из окна, косяка на толпу давим. Ну и народу! У меня аж руки зачесались, несмотря что завязал. Каша. Один к одному. Я бы в такой каше обогатился, падлой быть, на всю жизнь, дай он дубаря лет на пять пораньше. Для нашего брата карманника раз в сто лет такой фарт выпадает. Урка международный тут и припомнил, как он на Ходынке щипал, царя когда короновали, Николу. Мальчишкой еще был, а на триста рублей золотом наказал фраеров каких-то. Ругал, когда поддали, Сталина. Другой, говорит, камеру бы так держать не смог, как он страну держал. В законе урка был. А у меня, хошь верь, хошь не верь, помацать на него не тянуло. Ты, я вижу, придавить не прочь пару часиков. Ну уж хуюшки! Ты меня трекалу подзавел, ты и слушай. Чифирку сейчас заварим. Конец скоро. К нашим дням приближаемся. Но если ты, подлюга, ботало свое спустишь и хоть кому капнешь, что здесь услышал, я, ебать меня в нюх, схавая тебя и анализ кала даже не сделаю. Понял? Пей. Не обижайся. Я же не злой, я нервный, второго такого на земном шаре нема. Отвечаю, блядь человек буду, рубь за сто. Вот ты сидишь, пьешь, икорочкой заку-

сываешь, банку крабов сметал, как казенную, а балык и северюжку уже и за хуй не считаешь. А ведь мне эту бактерию по спецнаряду выдают как важному научному объекту и субъекту. Ну, ладно. Будь здоров. Я тебя к дрозофилам пристрою, к мушкам. Да нет! Эрекцию вызывают другие мушки, шампанские. У нас их пока не разводят. А эрекция, это когда встает, чухно ты темное. Ну откуда же я знаю, почему у тебя встает от шампанского? Что я, Троцкий что ли? Ну, сука, не дай Господь попасть к такому прокурору, как ты, — за год дело не кончит. До пересылки ноги не дотянешь. Слушай, мизер. Тут — амнистия. Тетка пишет, закрутила хер в рубашку с надзирателем Юркой. Вышла за зону и стала жить с ним. А Кимзу дернули в академию и говорят: принимай лабораторию, Молодина мы гоним по пизде мешалкой. Ну и ну, как повернул дело Никита! Кимза, конечно, меня и Владу Юрьевну тоже тягает наверх. И тут началась основная моя жизнь. В месяц гребу пятьсот-шестьсот новыми, жопа, а не старыми. Такую цену Кимза на малофейку выбил в банке. Владу Юрьевну я успокоил, что и на нее хватит и еще на два НИИ. А опыты пошли сложные. Лаборатория-то сексологией начала заниматься. Дрочить — это что! Пустяк. На меня приборы стали навешивать, датчики. Места на хую нет свободного. Весь сижу в проводах обвязанный, смотрю на приборы и экраны разные. Как кончаю, на них стрелки бегают и чего-то мигает. Интересно. А Кимза орет: “Внимание! Оргазм!” И биотоки записывает. И что он открыл. Что во мне энергия скрыта громадная при оргазме, и если ее, как говорится, приручить, то она почище атомной бомбы поможет людям в гражданских целях. Понял? Опыты ставили. Только начинает меня забирать, а на рельсах электричка с моторчиком движется. Быстрей все, быстрей, а сначала медленно. Прерываю ма-

стурбацию — электричка стоит, как вкопанная. Я по-новой — трогаюсь. Ее в “Детском мире” купили. Тоже, сволочи, нашли что выпускать. А если докумекают, что к чему? Ладно. Докладываю Кимзе: “Готов к оргазму”. Электричка, веришь, чуть с рельсов не сходит, по кругу бегаёт и останавливается не сразу. Академик тот самый приходил смотреть. Ужаснулся. “Сколько еще, — говорит, — в человеке неоткрытого!” Формулу вывели. Теперь инженеры пускай рогами шевелят. Самое трудное — не растерять эту энергию, понял? Она же, падла, по всему телу разбегается, пропадает в атмосферу и даже в памяти не остается. Хуже плазмы термоядерной. Академик сказал:

— Продолжайте, дружочки, опыты, человек решит и эту проблему, если ему не будут мешать Лысенки.

Я еще поддакнул и говорю:

— Лысенку давно политанией пора вывести.

— Что за политания? — спрашивает.

— От мандавошек, — говорю, — мазь.

— Что это за тварь?

Объяснил я ему, как мог. Изумился академик.

— В каком говне, — говорит, — живет человек, какие звери подлые его ни кусают, а он все к звездам, к звездам, сволочь дерзкая и великолепная!

Я академику в ответ толкую, что если мандавошки одолеют, то не то чтобы к звездам, а и в аптеку залетишь, не постесняешься политании спросить.

Короче, загребать я стал приличный кусок. Что я, блядь, Днепрогэс что ли, даром энергию отдавать? Если электричка ездит, значит, плати уже по совместительству. Ты, кирюха, опять ебало разинул, и, конечным делом, думаешь, как эту энергию использовать в военных целях. Ну и что ты надумал? Так. Залегла дивизия в окопы и

дрочит, а ток в колючую проволоку бежит, атаку срывает. Так я тебя понял? И все солдаты друг с дружкой соединены последовательно или параллельно. А если замыкание короткое, что тогда? Ни хера не придумал! Выходит, генерал должен искать пробку, которая перегорела, и пока он жучка будет ставить, фашист — тут как тут. И полный пиздец дивизии. Инженер из тебя, как из моей жопы драмкружок. Я вот у академика-старикашки спросил один раз, что будет, если все мужское человечество начнет по команде дрочить и кончит секунда в секунду. Товарищеский, как говорится, оргазм совершит и групповой к тому же. Что будет? Старикашка добрый говорит:

— Прогнозировать трудно, и для такой высокоритмичной акции требуется величайшая самодисциплина плюс массовое самосознание и, разумеется, ощущение единства цели. Пока мир разделен на два лагеря, это невозможно. Вот когда, батенька, будет один мир, тогда посмотрим. Тогда и подрочим, ха-ха, как вы изволили подпустить термина. Ежели, мечтатель вы мой, говорить серьезно, то эксперимент в таких глобальных масштабах может кончиться весьма плачевно, так как масса полученного удовольствия будет равна плюс-минус бесконечность.

А ты, кишка слепая, дивизию с пробками задумал. Ведь техника не член, она не стоит на месте ни одной минуты. Половую энергию не вечно будем добывать вручную. Это только в самых отсталых колхозах останется, когда выходит мужичонка поссать в темень-тьмушную, надрочивает свой кожаный движок, а в другой руке фонарик горит, путь-дорогу до сортира освещает. А с крыльца он не ссыт, ибо культура выросла, понял? Мы уже новые опыты начали. Я запросил с них две тысячи аккордом. Ведь угля-то скоро и нефти совсем не будет, на дровах-то до звезд не доберешься, да и тайга, писали давай, пиздой

постепенно накрывается. Какой же опыт, в общих чертах? Забачивают мне в голову два электрода... Ну и денатурат ты, ебал я твою четырнадцатую хромосому раком! Как же можно захуярить человеку в голову электроды, которыми по твоим данным сваривают могильную ограду на Ваганьковском кладбище? Охуел ты совсем или прикидываешься? Я из твоего глупого черепа ночной горшок замостырю, только дырки замажу. Дождешься. Вгоняют мне в затылок два электрода, тоньше волосни они мудяшной и из чистого золотишка сделаны. Сажусь в кресло мягкое, от электродов провода к прибору тянутся. Кимза командует, чтобы я про футбол думал. Думаю, а у меня стоит, чего ни разу в Лужниках не случилось. И вдруг автоматически чую, забирает меня, уже не до футбола. Кимза орет, чтобы руки мои привязали, и, веришь, спустил. Победа! Это сейчас кажется, что она легко далась нашей лаборатории, а сколько мы мучились. Мне весь череп истыкали, все клетку мозга искали, которая исключительно еблей распоряжается, а найти никак не могли, проститутки. Чего со мной только не было при этом! То ногами мелко дергал, то плакал горько-горько, то ржал, как лошадь. Один раз вскочил и как ебнул Кимзу между рог здоровенной клизмой, одних реторт перемолотил штук десять, а Владу Юрьевну поцеловал при всех. Вахтеров вызывали меня связывать. А клетку никак не найдем, вроде бы ее и нет вовсе. Я рацпредложение вношу, что, может, она, эта клетка мозга, не в башке совсем, а в залупе располагается. Обсудили такую гипотезу — не проказала она. Опять за башку взялись, и под Женский день перекосебило меня. Щека левая до ушей заухмылялась, рука отнялась и нога тоже, а электрод, все у нас в спешке делается, вытащили, а куда ставить — забыли. Тычут-тычут — не попадут по новой. Весь Женский день был я временно разбит

параличом, сучий мир. Даже Владу Юрьевну не побаловал, из ложечки меня кормила. А академик Кимзе выговор объявил. Хули делать. После праздника выплавили меня. Потом нашли все же ебучую клетку. На расстоянии стали моей психикой управлять, и академик сказал на закрытом заседании: “Покажу тебя, Николай, коллегам”. Запиздячили в меня штук десять электродов, в разные центры чувств, выводят на сцену. Кимза на расстоянии мной управляет. Выступаю неплохо. Смеюсь, плачу, трекаю безумолку, в гнев впадаю и в милость. Вдруг, сухой мне быть, сам того не хотел, растегиваю мотню, вынимаю шершавого и давай ссать прямо на первый ряд. Хожу по сцене и ссу. Все, думаю, посадят. У нас одному три года влупили за то, что в клубе с балкона партер обоссал. Или выгонят. Кончил ссать и, веришь, бурные аплодисменты мне ученые закатили, думали — коронный номер экспериментирую. Вскоре машину я купил, катер и полдома на Волге. Рыбачу в отпуске. Самое лучшее в жизни, скажу я тебе, кинуть палку в березняке любимой женщине и забыть, к ебени матери, науку биологию, в гробу я ее видел в босоножках. Ведь они что теперь задумали. Кимза открыл, что я при оргазме элементарные частицы испускаю или излучаю, хер их разберет, потому что в мозге взрыв огромной силы происходит, почему и в обморок падаем. Хотят меня в магнитную комнату засадить на пятнадцать суток, камера Вильсона она называется. Я было уперся, а Кимза говорит, что если мы на тебе кварки поймаем, Нобелевская премия обеспечена. Я и согласился. Человек же к любой работе привыкает. Вопросы есть? Урка международный у нас работает. Я устроил. Опыты по лечению импотенции на нем делают. Неплохо зарабатывает. Ну, что еще? Кварки — это самые простые частицы, из которых все сделано. В оргазме их и изловим, американцам козью

морду заделаем. И это — тайна, учти, сука. Потому что страна, которая первой кварки откроет, сможет сходу весь мир уничтожить и замостырить его заново из тех же самых кварков. Выпьем давай за науку!

15

Впрочем, стоп! Не хочу я за науку пить. У меня на нее большая душевная обида. Спасибо, конечно, за судьбу встречи с Владой Юрьевной, что воровать я завязал, за достаток, так сказать, и придурочную работенку в нашем соцлаге. Спасибо! Ну, а если рубануть правду, нужна она лично мне эта наука ебучая? Тебе она нужна? Вон по улице бабка полунищая идет, ногу за собой отсохшую волокет. Ей наука нужна? Да! Нужна! Ногооживляющая только наука, а не в жопу электроды вставляющая. Ты вот выскочи для интересу, дай бабке денег немного, да скажи: вот, бабка, есть у меня друг. Знаешь, чем на жизнь зарабатывает? В институте секретном... как бы это сказать повежливей?.. Скажи так: пипку свою треплет за уши и сдает вещество, из которого пацанва потом развивается. Беги и скажи. А я посижу и подожду. Наука, скажи, его к тому приговорила. Беги, кирюха! Беги-и-и!

Не отсохли ведь ноги? Что тебе бабка ответила? Не врать. Перепроверю... Правильно ответила. Я и есть дурак. И Бог, надеюсь, меня простит. Может, я и впрямь не ведаю, что я творю? Не могу понять: ведаю я или не ведаю. А понять надо бы до Страшного суда. Он тебе не нар-суд. Там не прикинешься дурачком и не уйдешь в глухую несознанку. Там как примутся тебя раскалывать архангелы — народные заседатели, так от тебя брызги правды во все стороны полетят, чтоб другим в следующей истории

неповадно было. Если встретишь еще эту бабку, поддержи финансами, я тебе верну, и добейся от нее, как быть человеку, если он не дотумкает, ведает он или не ведает, что творит. Спроси. А с другой стороны — чего мучиться мне — темному лесу над рекой, когда наш академик, уж у него-то звезда во лбу горит, сам ни хуя толком не понимает. Я уж трекну тебе напоследок, как мы по душам однажды разговорились. Приляг на софе, как шах персидский, и слушай. Но, если перебеешь дурацкими вопросами, я тебя вместе с софой коньяком оболью и подожгу. Софе ничего не будет, а ты попляшешь.

Была у нас в лаборатории лаборантка-стукачка. Стучала, потому что племянницей приходилась начкадрами и в науку мечтала войти впоследствии. А что нужно в наши времена для этого тупому человеку, кроме стукачества? Найти, кирюха, закономерность надо. Без нее ты хоть на папу и маму стучи, ставки тебе после института не видать, как своих мозгов. Молчи! Это раньше говорили — “как своих ушей”. Теперь открыто, что уши можно рассмотреть в зеркало. Попробуй же рассмотри мозги. Не вставай только с софы. Не рвись к зеркалу, дубина... Но как найти закономерность в чем-либо? Поймешь по ходу дела... Девуцу ту, лаборантку и стучевилу, звали Поленькой. Телка плоскозадая. Подходит однажды ко мне и говорит:

— Николай Николаевич, я заметила, что некоторые книги влияют на вашу эрекцию хорошо, а другие плохо и отдаляют оргазм иногда на пятнадцать-двадцать минут от начала мастурбации. Помогли бы вы мне опыты провести, чтобы обнаружить закономерность такого явления. У меня какая гипотеза? Ведь что люди имеют в виду, когда говорят про прочитанную книгу, интересна она или неинтересна? Они бессознательно констатируют наличие

момента возбуждения высшей нервной деятельности или же торможения в случае отсутствия интереса. Так? Давайте же бросим беспорядочное чтение, чтобы все было по Павлову. Я вам могу приплачивать за участие в опыте. Список литературы составлен. Как?

— Валяйте, — говорю. — Книжки я читать полюбил, но говна среди них много. Верно, что тормозят.

— У вас, Николай Николаевич, член ужасно чуткий к феномену эстетического. Я такой первый раз встречаю.

— А много ты их вообще встречала? — я залыбился.

— Только договоримся не беседовать на темы, не имеющие отношения к опыту. — Обиделась Поленька.

— Хорошо. С чего начнем?

— Мне очень нравятся книги Ю.Германа о чекистах. С детства люблю их. Волнительные книги. Вот роман о Феликсе Эдмундовиче. Я прикреплю к члену датчики. Температурный и кинетический. Ваше дело — читать и ждать эрекции.

— Мешают мне датчики, — говорю.

— Без датчиков нельзя. Мне необходима графическая запись всех показаний.

— Ладно. Давай сюда своего Германа с чекистами.

Разговор этот, кирюха, происходил у нас перед одним ответственным опытом. Кимзе пришлось через директора института и партком распоряжение из ЦК партии, чуть не от самого Суслова, осеменить во что бы то ни стало жену то ли шведского какого-то влиятельного политика из социал-демократов, то ли американского миллиардера — большого друга Советского Союза. Забыл. Это Кимза мне объяснял. В ЦК, пронюхав про наши Никитой реабилитированные опыты, решили нагреть на них руки. Валюта-то нужна. Где ее брать на то, на се, и компартии иностранные к тому же, как птенцы в гнездах сидят, жрать хотят и

клювы раскрывают. Шевели, выходит хуем своим движильным, Николай Николаевич, осеменяй. Космос обслуживай! Давай сведения для лечения импотенции физико-ядерщиков и секретарей обкомов.

В общем, приводят в лабораторию жену шведского социал-демократа или американского друга, не помню. Сажают в спецкресло и мне велят начинать. Лаборатория уже предупреждена. При команде “Внимание, оргазм” все занимают свои места, осеменяемая Советским Союзом расслабляется, улыбается, вырубить голос Левитана, прекратить шуточки, вытереть руки, ходить на цирлах, сознавать ответственность момента.

Представляешь, кирюха. Шведская дама там расслабляется-улыбается, к осеменению блаженно готовится, лаборантки стоят по стойке “смирно” у ее отворенного чрева, друг Советского Союза внизу, небось в фойе букет роз теревит, а я тут с проклятыми “ангелочками”- чекистами мешкаю! Страх меня взял. За осеменением из ЦК наблюдают. Сам Суслов давит косяка. Госбанк уже валюту считать приготовился. Того и гляди, думаю, дернут тебя, Коля, за саботаж на Лубянку. Нажимаю кнопку. Входят Кимза и Поленька. Влады Юрьевны в тот день не было. Ее в академию наук вызвали.

— Осечка, — говорю Кимзе. — Не стоит у меня.

— Ты о чём думаешь на работе? — шипит он.

— О гражданской, — отвечаю правдиво, — войне и красном терроре.

— Осел! Всех нас под монастырь подводишь! Начинай снова. Думай, черт бы тебя побрал с твоими думами, о чем-нибудь более приятном. — Тут Кимза взглянул на Поленьку и поправился. — О чем-нибудь то есть менее значительном, о балете на льду, например, “Снежная фантазия”.

— Лед, — говорю, — не возбуждает меня. Снег тоже.

— Тогда о женской бане думай! Ты понимаешь, какой сейчас ответственный момент? Нам лабораторию могут ликвидировать на хер! Представь, что ты банщиком в женской бане работаешь!

— Хорошо, не шипи только, — говорю.

— Быстро давай!

— Быстро, — отвечаю, — Тузики и Бобики кончают, а я — человек! Советский причем. У меня нервы исторически издерганы.

— Начитался, балбес, книг. Приступай к делу!

Ушел Кимза. Поленька ни жива, ни мертва. Благодарит, что не продал, и сует мне “Рассказы” Мопассана.

— Вот этот, — говорит, — читайте, он очень интересный.

Веришь, кирюха? Встал, как пожарная кишка на морозе, не разогнешь. Встал на первой же странице, а я читаю быстро. Бывало, следовательно целый месяц дело пишет и днем и ночью, а я его за десять минут вычитываю и подписываю. Читаю, значит, Мопассана, толком ничего не понимаю, но чувствую, дело к ебле идет по сюжету. Муж уехал на один день в командировку и велел Жаннете не скучать без него. Она была круглая дура и послушная жена, раз велел Морис не скучать, подумала она, то я и не буду. Я его люблю и не могу послушаться. А по улице в это время шел трубочист. Она и говорит ласково, перегнувшись из окошка так, что сиськи чуть не выпали на парижскую улицу:

— Милый Пьер, зайдите ко мне прочистить трубу.

Ну, Пьер, такая уж у него работа, зашел и прочистил. И вот, кирюха, какой замечательный писатель Мопассан! Я ни о чем не догадался, пока муж не приехал из командировки. Он приехал и говорит утром жене Жаннете:

— Жаннета, я весь вплоть до нашего милого дружка вымазан в черном. Что это? — Она хоть и дура была, но нашлась. В такие минуты дураков нет, кирюха.

— А не спал ли ты, мой котенок, с прелестной негрятяночкой?

Ох, и поохотали они тогда над ее шуткой, за животы держались, и Морис снова полез на жену Жаннету. А когда, очень довольный собой, он уходил на службу, то сказал:

— Пожалуйста, птичка, пригласи трубочиста. У нас труба не в порядке.

На этом рассказ кончился, к сожалению. Но я был в форме. Беру в другую руку пробирку и уже слышу как Кимза орет:

— Внимание, оргазм!

И что ты думаешь? Попала от меня та дамочка. Мгновенно попала. Распорядился мой Николай Николаевич в ее фаллопиевой трубе. Благополучно родила у нас же в клинике. Я видел мальчика. Симпатыга. Теперь ему 20 лет. Беда только, что ворует. По карманам лазит, несмотря на богатых папу и маму. В меня пошел. Это мне Кимза рассказывал. Может, и шутит. Но из того, что шведские социал-демократы боятся связываться с нашими диссидентами, я пришел к выводу, что та дамочка была не американка. Рассудил логически.

Вот Поленька тогда сообразила, что к чему, и стала подсовывать мне на опытах то одну книженцию, то другую. Чего я только не перечитал, кирюха, за целый год эксперимента! Поленька набрала столько данных, что разобратся в них не могла, а об вывести закономерность без научного руководителя уже и речи не было. Не тянула она на это. Ну, и рассказала о своей работе академику нашему со списком прочитанных книг. Там было три графы.

“Встает”, “Наполовину”, “Эрекция отсутствует”. В первую графу, раз уж ты интересуешься, попали следующие авторы и книги: “Охотничьи рассказы” Тургенева, “Вий” и “Майская ночь” Гоголя, “Отелло”, где негр ревновал. “Золотой осел”, там все про еблю. “Как закалялась сталь”. “Три мушкетера”, “Обломов”, “Муха-Цокотуха”, меня там возбуждало, как паучок муху в уголок волок. “Любовь к жизни” Джека Лондона, которого Ленин любил. “Наполеон” академика какого-то. “Степь” Чехова. Стихи Пушкина “Мороз и солнце — день чудесный...” и “Сказка о Спящей царевне”. “Путешествие на Кон-Тики”, “Занимательная астрономия”, “Книга о вкусной и здоровой пище” и, вот что странно, кирюха, книжонка царского времени “Как самому починить ботинки” приводила меня в ужасное возбуждение. Я потом долго успокоиться не мог. Помню, приятно было читать “Анну Каренину”. Правда, при воспоминании о конце этой книги у меня не то что не встает, а вообще хочется положить хер на рельсу и пушай проезжает по нему трамвай “Букашка”, чтобы покончить разом с этим делом, жаль, что выселили его из Москвы. Помню также “Воспоминания”, только не помню, чьи. Я все люблю воспоминания и заметил, что люди, которые мне отвратительны, воспоминаний после себя не оставляют, пидары гнойные. Гитлер, например, Сталин, Дзержинский, мой первый следователь Чебурденко, Берия, наш домоуправ Шпоков и другие негодяи. В данных я сам под конец запутался. У меня эрекция начиналась не обязательно от ебливых моментов. Если бы так! А то — нет! Даже Мопассан действовал на меня по-разному. То угнетающе-тормозяще, то доводя до неистовства. Так же и Лев Толстой. Не говоря уж о Достоевском. На что уж там в “Братьях Карамазовых” и в “Идиоте” все с ума от ебли сходят и любви, а я

наоборот тускнею, задумываюсь, в тоску вхожу. В чем дело? Но стоило взять в руку “Барона Мюнхаузена” — как штык! Всегда готов в бой!

Полусгибался же у меня от книг Катаева, Каверина, Трифонова, Катаряны Сусанны Причард, Джеймса Олдриджа, Теодора Драйзера, Анри Барбюса, Максима Горького, “Тихого Дона”, Андре Стиля, Луки Мудищева, “Космических будисей”, журналов “Здоровье” и “Знание — Сила”. Всех названий не перечислишь. Да и без толку перечислять. Поймешь потом, почему. Но вот совершенно не стоял у меня, словно это мочка уха была отмороженная, а не боевой топор, знаешь от чего? Отвечу коротко: от книг, не похожих друг на друга, как день и ночь. От всего соцреализма, его Поленька так называла, и от самых неожиданных книг. Ну, что может быть общего, кирюха, между романом “Сибирь” Георгия Маркова и “Дон-Кихотэм”? Грех даже сравнивать. А у меня не стоял ни от того, ни от другого, хотя от “Сибири” я чуть не сблевал, а от “Дон-Кихота” плакал три недели, как маленький, и на работе и дома. Или взять какого-нибудь Закруткина-Семушкина-Прилежаеву-Воскресенскую-Сафронову-Грибачева-Чаковского — не путай этого идиота с “Мухой-Цокотухой”, — “Кремлевские куранты”-Симонова-Джамбула — всех не перечесть, и все они на одно лицо, как бы ни старались выебнуться почище. Особенно, Симонов. Все они, повторяю, на одно лицо, и стоит, ты уж поверь мне, одолеть страниц двадцать, как чуешь, что из тебя-клещами душу вытягивают, опустошают тебя — то неумением интересно придумывать, то такой парашей, что глаза на лоб лезут. А главное, все они стараются так прилгать, чтобы казалось нам самим и в ЦК: ох, и приличная жизнь в советской нашей стране. Ох, и работают на совесть рабочие и крестья-

не. Еще смена не кончилась, а они уже вздыхают: скорей бы утро — снова на работу! Парашники гнусные. Меня-то не проведешь за нос: я уже повидал житуху на всех концах СССР. Но хрен с ними. От них и не должен вставать. При чем тут “Дон-Кихот”, “Путешествия Гулливера”, “Капитанская дочка”, “Мертвые души” и многие другие книги, вот что было непонятно и удивительно.

Пришлось Поленьке расколотся академику. Он просмотрел данные опытов. Проверил статистику, сам обработал ее. Потом однажды говорит при мне Поленьке:

— Есть у вас научное любопытство. Почему же вы не смогли завернуть резюме? Буду краток. Истинная литература имеет отношение не к члену Николая Николаевича, а к его духу, хотя ваш подопытный человек феноменально и легко возбудимый. У него даже от двух слов “Женский туалет” иногда встает, не то что от Мопассана. Верно, Коля?

У меня фары на лоб полезли от такой догадливости. Что он, следил за мной, думаю, что ли?

— Так что, Поленька, работу вы до конца не довели, закономерности основной не выявили, но вы способны и любопытны и не брезгуете никакими средствами. Вас ожидает чудесная научная карьера. Сами-то литературой интересуетесь?

— Постольку-поскольку, — сказала Поленька.

— Очень скверно. Запомните: к духу человеческому имеет отношение литература, а не к хую Николая Николаевича. А ты, Коля, — говорит старик, — порадовал меня. Не так прост и низок человек, как порою кажется. И в вас, шалопае, есть искра Божья! Есть! — Тут он велел Поленьке удалиться и, главное, не подслушивать нас и продолжал: — Надоела, небось, работенка?

— Да, — отвечаю, — завязывать пора. После “Дон-Кихота” и прочить стало очень трудно и страшно. Чем я, думаю, занимаюсь, когда надо продолжать войну с ветряными мельницами?

— Понимаю тебя, Коля, понимаю. У меня пострашней на душе мука, чем твоя, хотя грех такие муки соизмерять. Ты вот просто прочишь, пользуясь твоим выражением. А мы все чем занимаемся? Ответь.

— Суходрочкой что ли? — говорю, не подумав даже как следует, и академик до потолка чуть не подпрыгнул.

— Абсолютно точно! Вот именно, — говорит, — суходрочкой! Су-хо-дроч-кой! Полной более того суходрочкой! Вся советская, Коля, и мировая наука — сплошная суходрочка на 90%! А марксизм-ленинизм? Это же очевидный онанизм. Твоя хоть безобидна, Коля, суходрочка, а сколько крови пролито марксизмом-ленинизмом в одной только его лаборатории, в России? Море! Море, а полезной малофейки — ни капли! Все вокруг суходрочка! Партия прочит. Правительство онанирует. Наука мастурбирует, и всем кажется, что вот-вот заорет какой-нибудь искалеченный Кимза: “Внимание — оргазм!” — и настанет тогда облегчение, светлое будущее настанет. Коммунизм. А ты подрочил, побаловался и хватит. Не погиб в тебе, Коля, человек, как, впрочем, не погиб он от суходрочки советской власти. Придет, надеюсь, пора, и он завяжет, как ты выражаешься, завяжет и займется настоящим делом. Хватит, скажет, прочить. Подрочили. Время за живое и достойное дело приниматься, а о суходрочке многолетней, даст Бог, с улыбкой вспоминать будем. Ты чем хотел бы заниматься, кроме онанизма?

Верить, кирюха, подумал я тогда: ну, на что я способен, просидев полжизни в лагерях и прочив столько лет в институте? Подумал и вспомнил, что у меня, непо-

нятно почему, встал, как штык, от старой потрепанной, выпущенной при царе книжонки “Как самому починить свою обувь”.

— Сапожником пойду работать, — говорю. — Я очень люблю это простое дело. А материться больше не буду. Надоело.

— Умница! Умница! У нас и сапожники-то все перевелись! Набойку набить по-человечески не могут. Задрочились за шестьдесят лет. Иди, Коля, сапожничать. Благословляю.

— А как же вы тут без меня? — говорю.

— Управимся. Пусть молодежь сама дробит. Нечего делать науку в белых перчатках. В свое время я дробил, хотя был женат, и не брезговал. А чего я, Коля, добился? Стала мне понятней тайна жизни? Нет, не стала. Наоборот! Я скажу тебе по секрету, Коля, — академик зашептал мне в ухо свой жуткий секрет. — Я считаю, что не зря жил и трудился в науке. Мне, слава Богу, стала окончательно непонятна тайна жизни, и я уверен: никто ее не поймет. Да-с! Никто! Ради понимания этого стоило жить все эти страшные годы. Звоните. Приду к вам чинить туфли. И знакомых пришлю.

Тут табло зажглось “Приготовиться к оргазму”. Ушел академик. А я, знаешь, кирюха, что завтра сделаю? Не догадаешься, пьяная твоя харя. Я завтра явлюсь на службу, соберу свои книжонки, включу сигнал “К работе готов”, а сам втихаря слиняю. Слиняю и представлю, как Кимза вопит на всю лабораторию: “Внимание — оргазм!”, а кончать-то и некому. Заходит Кимза в мою хавирку, кнокает вокруг и читает мою записку: “Я завязал. Пусть дробит Фидель Кастро. Ему делать нечего. Николай Николаевич”. Кимза бросится к Владе Юрьевне. — Что делать, Влада? Остановится сейчас из-за твоего Коленьки нау-

ка. — А Влада Юрьевна ответит, она уже не раз отвечала так, когда я не мог, хоть убей, кончить:

— Не остановится, Анатолий Магомедович. У нас накопилось много необработанных фактов. Давайте их обрабатывать.

Маскировка

(История одной болезни)

1

Вот ты, Гриша, хоть и генерал-лейтенант, но брательник мой, и если ты не веришь мне, если не прекратишь погонами трясти и орденами брякать от хохоту, то я тебя и за хер собачий считать не буду, не то что за генерала. Да! Это произошло в тринадцатую зарплату, которую, говорят, изобрел сам Карл Маркс, но при культе личности скрывали ее от рабочего класса, скрывали. Только не ворота свое рыло генеральское от культа личности. Знаем, почему он вам по сердцу пришелся, знаем. И ты знаешь, что ты — паразит с окладом, с дачей, с машиной, блядь, с филе тресковым и так далее. Ах, разъяснить тебе, почему ты паразит, если ты целыми днями орешь “смирно-о!” Пожалуйста! На тебя никто нападать не собирается. Вот и все. На хуй ты кому нужен! Америке? Она сама с собой никак не управится, и если даже допустить, что она тебя завоевала, то что ей с тобой, с одной шестой частью света делать? Пьянь, рвань, ворье и придурков партийных и военных себе на шею вешать? Безрассудно. Китай, говоришь? А не ты ли, сука такая, обучал китайцев танки наши водить и косою ихний глаз к нашим пушкам приноравливал? Не ты? Вот помалкивай тогда и слушай, как твоего родного братца в жопу выебли. Нет! Не в треугольнике, не в спортлото, а в буквальном смысле, и куда в этот

момент смотрела наша милиция, я не знаю. Глупо даже меня спрашивать об этом.

Итак: тринадцатая зарплата, в гробу бы я ее видал. Спускаюсь за ней в нашу подземную бухгалтерию. Ты, братец, не притворяйся, что не понимаешь, почему в подземную. Прекрасно ты все, хоть и не здешний генерал, понимаешь. Но чтобы ты лучше разбирался в деталях нашей жизни, я тебе сболтну пару военных тайн. Мы тут наверху боремся за то, чтобы наш город Старопорохов выглядел самым грязным, самым аморальным и самым лживым городом нашей страны. Маскируемся, одним словом, а под нами делают водородные бомбы, и товарищ иностранец, разумеется, ни о чем не догадывается. Сам я маскировщик восьмого разряда. Мое дело алкоголизм. Бригадир. Как получка, так моя бригада надирается, расходится по городу, балдеет, буянит, рыла чистит гражданам, тоже маскировщикам по профессии, а я как старшой должен завалиться на лавочке возле Ленина и дрыхнуть до утра. Как я выучился, как пошел по этой части, так с бабой, с Дуськой начались у нас нелады. Я же все на работе и на работе, поскольку пить надо, естественно, от полочки до полочки, а жарить Дуську некогда. Утром вся моя бригада опохмеляется, потом собрания бывают, товарищеские суды и так далее. Общественных обязанностей тоже хватает. И бригадирство свое давно бы бросил, если бы не сукоедина одна из бригады. Вот рассчитаюсь с ним и брошу. Но о нем речь впереди. В общем, с бабой нелады. И не у меня одного. У всех моих алкашей дома преисподняя. Ужас. Мрак... Мы ударники коммунистического труда, а дети у нас выпадают, как шары в спортлото: все не то и не то. Запоздалое развитие, замедленные реакции, негативизм, рахит, хромосом каких-то не хватает, глухие, одноглазые, шесть пальцев, правая рука — левая, а левая — правая, — всего не перечислишь. Рекорд Тетерин поста-

вил. У евоного Игорька два языка, и оба — говорящие. Да, братец, не удивляйся! Маскироваться от Пентагона это тебе не берлинскую стену охранять и всяких чехов перевоспитывать. Повторяю: не удивляйся. Наши электронщики все выверили, просчитали и запрограммировали. Как спутник американский пролетает над Старопороховым, так у наших гастрономов очереди выстраиваются, вроде бы мясо, масло и колбасу дают, автобус переваливается по колдоебинам, пионерчики маршируют, поют песенки про вечно живого Ильича, грузины гвоздику продают, бляди куда-то бегут за дубленками, в парках драки, в баньках парятся, театры, конечно, танцульки — одним словом, видимость жизни заделывается, маскировка, братец, маскировка!.. И я вот иногда прочухаюсь после работы, просплюсь, щец хлебну с чесноком и сметанкою, выйду на нашу Фрунзенскую набережную, сяду на пригорочек над речкою Пушкиной, гляну вокруг на мостовые горбатые, на дома вшиво-серые, на общую облезлость жизни, на зачуханность своих земляков и несчастных детишков и чую, гордость в душе шевелится: сколько же, думаю, сделано за эти годы, ебит твою мать! Сколько объектов маскировочных построено! Больницы, школы, ясельки, садики, кинотеатры, в которых такое говно показывают, что сразу бросаешься к телевизору, а там тоже сплошная маскировка. Но это я отвлекаюсь. Немало сделано за эти годы. Вот бассейн открыли новый. Море, а не бассейн. В нем уже трое из моей бригады во время исполнения служебных обязанностей потонули. Шпионы, дипломаты и цереушники, бывает, приезжают и купаются в нем, спутники самые секретные американские над ним летают, и что? А то, что Пентагон только соплю в себя втягивает зеленую и не допирает, что под самым бассейном у нас реакторы установлены и бассейновая вода охлаждает их, очищается и опять наверх подается. По-

нял? Вот это — маскировка. Но хули там бассейн. Ты стадион возьми. Под ним партком первичной сборки водородных бомб. Матч идет. Наши маскировщики-болельщики вопят: “Шайбу! Шайбу!”, а внизу партком заседает и решает взять повышенные сообразительности к шестидесятилетию Советской власти, выдать на гора сверх плана восемь бомб. И нету у Пентагона такой техники, чтобы подслушать речуги нашего парткома, когда орут ребятишки “Шайбу! Шайбу!” Это вам, падлы, не уотергейтская гостиница... Сижу я, значит, на пригорочке, над речкою Пушкой, люблюсь городишком своим Старопороховым и лыблюсь про себя с большим удовлетворением. Чего только не писали и не пишут о нем в вонючих зарубежных газетах! И голоса его всякие ругают, и по волнам немецким бубнить не перестают. Дескать, дороги плохие, мяса, филе трескового в магазинах нету. Врачам времени хватает, чтобы вылечить только одного шестого, а пятеро или хворают или же подыхают. Дескать, зарплата низкая, религию убивают, обувь — говно, старый автомобиль дороже нового стоит, сажают кого-то, высылают, пшеницу у Америки покупают, БАМ строят с песней, равнодушно голосуют за народных судей, воруют повсеместно и на народ в общем непохожими стали, душевно разложившись, даже не для маскировки пьют, пьют, пьют.

Да, думаю я на пригорочке: все это обстоит именно так, а, может еще в тысячу раз хуже, потому что своему глазу виднее. Да, обувь — говно. Да, пьем! Но зато сие наверху, на земле, вокруг нас, так сказать, а внизу, в просторных, залитых, блядь, искусственным солнечным светом цехах, лабораториях, кабинетах, взрывариваемых и парткомах лучшие советские люди куют в белых халатах атомно-водородный щит нашей родины, или же меч, если мы ебнем по вас первыми, Господа Удавы!

Подземная наша служба знает свое дело туго, а мы — наземная — тоже не олени сохатые, и план перевыполняем, и рационализацию не забываем. Насчет плана, братец, дело обстоит так: лично моя бригада пьет в счет 1999 года. Теперь — рационализация. Поддали мы как-то на профсобрании все вместе, и Тетерин, у которого Игорек с двумя языками родился и растет, предлагает: снизить надо качество водки. Аплодируем. Ведь вроде дурак дураком ходил Тетерин, у бензоколонки, где интуристы-шпионы запроваляются, валялся на своем посту пьяный, а тут пошевелил мозгами и выдал буквально инженерную и экономическую идею. И ни одна голова до этого раньше не додумалась, хотя идея просто валялась на поверхности нашего Старопорохова. Про Тетерина потом статья даже появилась в “Высшей Правде” — “Идея: простота и изящество”. Он, сука такая, революцию, можно сказать, произвел в виноделии. Химики сходу внедряют его предложение в жизнь. Снижают они качество водки. Не сразу, между прочим, снизили качество. Несколько лет химики бились. Не давалась водяра, не хотела портиться, но одолели-таки ее наконец. Государству она стала обходиться в сотни раз дешевле, а балдеть мы — самогонщики-маскировщики — стали сильнее. С похмелья злей стали, и дети опять же выходят косорылыми с гнилой геной. Коэффициент маскировки, следовательно, выше... Так-то вот, братец, вкратце обстоят дела в Старопорохове. Все, что слышал, забудь, не то меня в реактор бросят без всякого суда, как Пронькина, и собирай тогда братца обратно по молекуле. А раз уж я растрепался, то стесняться теперь своей информации не намерен. Я тебе все выложу.

Сегодня у меня отгул, мы на кладбище сходим, посидим над могилкою, стариков помянем, потом пообедаем в Дуськиной, бабы моей, столовой. Она нам в кабинете накроет, и я тебе отвечаю: закусим от пуза, без всякой маскировки. Селедочка — значит селедочка! Дунайская! С нее шкуру сдерут, а жир на ней такой, братец, нежный, что тает на твоих глазах от тепла и света электролампочек. Перламутр! По соляночке врежем. Тоже без маскировки, не то что для работяг. И почечки в ней парные, и сосисочки, и мясо, и каперсы — все, что положено, вплоть до маслин. И, разумеется, шашлык. Ты такого в Кремле не рубал! Туфты в нем ни вот столечки! Барашек. Дуська его в сухом вине вымачивает, лучок, травки там, перчик... с ума сойдешь! Живой шашлык, форменно живой, жевать его абсолютно не надо, он сам в тебе до самого желудка распорядится. Кстати, работяги, маскировщики наши, народ, одним словом, все знают. Как же не знать, если им шашлык из бельдюги и акульею мяса дают, жареный на сковородке, на постном масле, в котором до этого уже тысячу пончиков отожгли? Все народ знает. И понимает, между прочим, что шашлык, наш с тобой шашлык, или же кремлевский, это — шашлык секретный, а ихняя солянка — бурдовая, ржавая селедка и биточки по-домашнему, в которых мяса мороженого меньше, чем в голодном клопе крови, — маскировка. Ведь ежели бы, братец, народ наш не был такой сознательный и грамотный, то, конечно бы, он от такой жратвы взбрыкнулся и устроил вторую Октябрьскую революцию, самую натуральную. А он понимает, змей, задачу партии и правительства, кует ядерный щит и меч, хуй кладет на качество

пищи и что тресковое филе куда-то пропало. Он сыт не хлебом единым, не то что ваша генеральская пиздобратия... Ну, а после обеда пойдем на могилку. Нашим повезло, они на кладбище, по-человечески захоронены. Сегодня остальных жгут, а цветочки и букеты, те, что в гробы мы кладем напоследок, не сжигают. Ими опять на Тихом рынке бабы торгуют. Я один раз в женский день купил такой букет, а он тоскливо пахнет, тоскливо, но свеж и хорохорится. Оттуда все же вернулся. Я говорю бабе: “Ну, что, проститутка, как живешь с этого?” “Спасибо, говорит, — маскируемся потихонечку”.. Скрипнул я зубами, хотел бабе в рыло въехать и в ЦК КПСС оттащить, но тут время было спутнику пролетать пентагонскому. Я в картофельном ряду свалился, букет под щеку, заснул. Да, братец, нашим старикам повезло. А если бы не бетонщик Вуков, сволочь такая, курва и сачок, то не запретили бы кладбища, слово даю, не запретили бы. Парторг наш тогда сказал на митинге: “Успокойтесь, товарищи, не может исторически так быть, чтобы партия всех вас не похоронила!” Что же он сделал, гад такой, этот Вуков? Сидим мы один раз в подземном дворце на торжественном концерте в честь Дня маскировщика, и только Райкин сказал Зыкиной: “Ух-ха-ха! Смерть капитализму!”, как сверху, чуть не на них труп с гробом шмякнулся. Грохнули мы со смеху и аплодируем, не слышим, как Райкин сатиру свою несет о недостатках, а Зыкина же продолжает петь: “Росси-я-я! Ро-о-осси-ия!” Сам труп из гроба выпал, лежит нелепо в черном костюме, босой, растерянный, цветочка в гробу, заметь, братец, нету ни одного, и вдруг Тетерин орет “Па-па-а”, взбирается на сцену, Зыкину с Райкиным раскидывает к ебени бабушке, берет труп под мышки и опять в микрофон орет: “Товарищи! Это же папа!” Мы по новой аплодируем, грохочем, вот, думаю, номер хуякнули ко Дню маскировщика, а с

потолка земля сыплется и скелеты. Всю сцену завалило. Тут сразу стало ясно: авария. Потом уже экспертизу навели, ну и конечным делом оказалось: виновен Вуков. Арматуру, сволочь, забыл в перекрытие положить, потому что из этой арматурной проволоки делал ограды на кладбище, халтурил, он же прямо под ним вкладывал. Вот кладбище и провалилось на сцену. А папаню Тетерин еще раз хоронил. Что-то у него все двойное: похороны, поминки, язык у Игорька, хотя сам — сволочь, и если б не он, никогда бы я педерастом не сделался. Ты, братец, не волнуйся, и до этого дело дойдет. Все узнаешь. Только держись. Держись, братец-генерал! Жизнь прожить это тебе не границу с Чехословакией перейти, как любит говаривать мой дружок Вася. Он тоже вроде тебя — танкист. Но хрен с ними, с вашими танками, хотя все равно ни я, ни моя бригада, сколько ни крутим своими шариками, никак не можем понять, почему вы захватили эту ебучую Чехословакию, если она нас захватывать не собиралась, а вот на Китай не двинулись, не врезали по нему лазером? Почему? Во-первых, мы перед сменой газеты читаем и видим: китаезы такие наши враги смертельные и такая внутри у них катавасия происходит, что ни в какие Кремлевские ворота не лезет по сравнению с чехами. И маскировочка у них почище нашей, а под каждым городом, под каждой даже, говорят, фанзой или же завод, вроде моего, или же шарашка, где они вручную водородки мастырят. Они такой технологией не брезгуют, лишь бы было чем по нас вдарить. Так почему же, генеральская твоя харя, поллитбюро такую хуйню допускает? Что оно, очумело, что ли? Что оно, не просралось после банкетов и вечного праздника и не понимает, что у китайцев не 800000000 человек, а в два раза больше, и остальные под землей на бомбах и ракетах заняты? Им же Зорге-2, Зорге-3, Зорге-4 и даже семнадцатый Зорге каждый день морзянку от-

стукивает: пиздец... пиздец... пиздец... Что им, третьей отечественной войны захотелось? По военной романтике соскучились, суки? Брежневу, конечно, хули? Выйдет на мавзолей, бровками двинет, откашляется, стаканчик коньяку хлобыстнет и вроде того, рябого и любимого, слезу в микрофон пустит: “Дорогие братья и сестры, дети и внуки! В этот охуевающе тяжелый час для нашей Родины, я обращаюсь к вам, друзья мои! Враг коварно перешел границу у реки и сорвал строительство БАМа. Смерть китайским оккупантам! Не все коту масленица! Головокружение будет за нами!”

Я по твоим глазам, братец, вижу, что ты именно этого хочешь. Мой друг кирюха Наум, он еврей и поэтому стихи пишет, правильно говорит: “Поэт хочет умереть на родине, а генерал же на войне”. Вот ты иди, залезь на Останкинскую башню, выпей в ресторанчике поднебесного полбанки, закуси, повоюй с проклятыми официантами, бутылкой шампанского окно выбей и лети себе вниз, погонями, как крылышками, помахивай. А меня и мою бригаду... сколько в ней, между прочим, человек, я тебе никогда не открою, это святое у меня, тайна, бригаду мою, подчеркиваю, не тяни за собой, не тяни. Хватит с нас. Нам шестьдесят лет уже всем до одного стукнуло. У нас гражданская за плечами, голодухи, раскулачиванья, посадки, фюрер, Сталин, Никита цены взвинтил, а теперь еще такси подорожало. Вдвое! Вдвое! Между нами, братец, Косыгин обнаглел. Ну, ладно, он, говорят, на Зыкиной женился, ладно. Женился, не прозевал, козел старый, схватил индюшку и сопи себе в обе ноздри. А он за такси взялся. Вот кончил бы вроде Пасова смену на другом конце города — ночь, транспорт весь помер, в руках и ногах дрожь и дрожать им до одиннадцати утра, а в кармане душник. Хватало его раньше с чаевыми, чтобы до дому добраться и еще на кружку пива оставалось. Что же на-

блюдаем теперь? Таксист тебя выбрасывает на полпути и прешь до дому на своих. Прешь чуть не на карачках, до того ты домаскировался, план выполняя. И старался ведь не для себя, а для того же Косыгина, Пентагон объебывал. Так зачем же на такси цену удваивать? Вы лучше бомбы подешевле придумайте! Вы со своих физиков и электронщиков за то, что они мозгами, падлы, не ворочают, взыщите сполна! Я у парторга на днях спрашиваю: “Можно мне как бригадиру выйти на Тихий рынок и сказать народу, что Косыгин — козел, где тресковое филе и руки прочь от такси?” Парторг говорит: “Выходи. Ори, сколько вздумается, янки как раз со спутников нас подслушивают, и заявляй, что хочешь. Это даже великолепно будет для объективной маскировки. Ты знаешь, — спрашивает парторг, — что мы в Хельсинки соглашение подписали? Вот и ори, создавай демократию и свободу слова, а что с тобой делать, решим позже”.

Хорошо. Прихожу на Тихий рынок. Объект тяжелый. Дипкорпус продукты тут покупает, потому что от нашей магазинной еды у него гастрит, изжога и камни в желудке. “Почем, — говорю, — говядина?” “Шесть рублей,” — отвечает колхозница. У нее задача маскировочная, но сверхсекретная: мы с бригадой бились, бились, никак не могли понять, почему партия и правительство изредка продают народу мясо в три раза дешевле, чем какая-то краснорылая сучка. Ну, почему? Я понимаю: дипкорпус тут пасется. Но народу-то в Старопорохове больше, чем цереушников! Неужели колхохники так заелись, что диктуют свои цены не только нам, но и членам политбюро? Это, товарищ братец, генерал-лейтенант, уже не диктатура пролетариата, а грабеж среди бела дня того, кто Зимний взял и исключительно отдал этот красивейший Зимний дворец в руки парторгов, секретарей райкомов, обкомов и прочих придурков. Вот что это такое, когда на

такси вместо одного рваного приходится два новых выкладывать. И не надо меня прерывать, не надо торопить. Раз мы свиделись наконец, то уж я расскажу тебе свою историю до конца... Диктатура пролетариата! Да если бы тыркнуть Маркса-Энгельса-Ленина бородами и ебалами в петрушку, хвостик один только тонюсенький 20-30 копеек стоит, или в лук, морковку и прочий овощ на Тихом рынке, то они наверняка подумали бы: нет, товарищи, надо не революции устраивать, а цены на рынках снижать и гастрономы заваливать продуктами! Вот как они подумали бы, и поехали бы на рыбалку на речку нашу Пушку. Закинул бы Карл Маркс мормышку в прорубь и сказал бы Энгельсу: "Ну, как, Федя, клюет?" "Нет, Коля, одиноко. Очень одиноко," — сказал бы Энгельс и спросил у вечно живого трескового филе: "Эй, Вова, клюнуло?", "Мы, большевики, намерены настолько загрязнить окружающую среду, господа отзовисты, насколько этого потребуют интересы пролетариев всех стран".

3

Вот, товарищ генерал-лейтенант, какие дела на Тихом у нас рынке, но брюзжание, недовольство, жажду справедливости и другие беспартийные чувства выходят из души постепенно, с трудом, но выходят. Ляжешь себе в капустно-квашеном ряду и думаешь: хрен с тобой, покупай телятину, дипкорпус, зимой груши Дюшес, огурчики и помидорчики, лопай, когда я себе укропчику не позволю, а под самым рынком знаете что? Не знаете! ОТК! Там бомбы бракуют и на боеголовки знак качества ставят. Вот над чем вы раскошеливаетесь, пока мы идем к коммунизму.

Ты, братец генерал, спрашиваешь, почему я так много уделяю времени рынку. Повторяю: Тихий рынок — один из моих объектов. И халтуру я там, подрабатываю. Ведь у нас, алкашей-маскировщиков, как бывает? Выйдешь на работу, а материала нет. Не останавливать же производственный процесс? Приходится на свои брать водяру, или же одеколон, керосин, карамзин и “Солнцедар” проклятый. А своих у нас почти всегда ни шиша. Бабы отбирают, алименты и так далее. Спецовок нам, кстати, Косыгин не выдает. Это у него Зыкина перед каждой песней переодевается, как будто пачкают ее песни, а мы во всем своем работаем. Дуська моя, бывало, говорит: “Сволота! Пьянь! Я в химчистку бегать не успеваю”. А я ей тогда в ответ: “Спокуха, Дуся. Я — не Брежнев Леонид Ильич. У меня один костюм, а у него 200 миллионов, и я в своем к тому же и дома, и на посту, и на партсобрании. Так что на рынке я подхалтуриваю, а пост мой основной на лавочке около Ленина. Там меня, между прочим, и огуляли, пидором сделали. Но возвратимся к тринадцатой зарплате. Нас в тот день бригадой коммунистического труда сделали, вымпел вручили, пару каких-то знамен и прямо на сцене Дворца Съездов, потолок к тому времени заделали в нем, чтобы трупы и скелеты вниз больше не шмякались, прямо на сцене видная такая хмырина — главный инженер по удороживанию зарплаты — выдает нам конвертики. Голубки на них, на конвертиках летают и в клювиках лозунги несут: “Народ и Партия едины!”, “Слава КПСС”, “Мы придем к победе Коммунистического труда!”. Я в ответ речугу кидаю, а сам наверх посматриваю. По моим расчетам могилка всех наших прямо над трибуной должна находиться. И как-то муторно мне на душе от этого и стыдно почему-то слова говорить, тоска одним словом. Не могли уж Дворца Съездов не под кладбищем расположить, а под вытрезвителем, скажем, или под зоопарком.

Всегда у нас какая-то хреновина происходит с проектами, идиоты везде сидят... Ну, что-то я с трибуны вякнул, вызвал на соревнование бригаду Шульцова. Они посуду пустую собирают и сдают. “Это, — говорю, — дорогие товарищи, и есть Коммунистический Труд. Одни больше выжрут, другие, следовательно, больше сдадут!” Парторг мне лично тогда похлопал. Тот день почему еще ответственный такой был? Американцы запустили сразу восемь спутников и выходило так, что они Старопорохову нашему дыханию не давали. Один пролетит, за ним другой. Парторг всем нам и наказал: “Чтобы все как в Большом Малом театре было, ребята! Маскируйтесь!”

В общем, одно к одному все в тот день поперло: и тринадцатая зарплата, которая, как сказал парторг, — зеркало прибавочной стоимости, и митинг всех бомбоводородчиков и Пентагон с ЦРУ со своими спутниками. Поддали мы сначала за Манькиным пивным ларьком, потом за Анькиным, затем за Зинкиным. Тетерин вдруг орет: “Летят! Летят! Из-за луны один, другой из-за месяца!” А Петя транзистор свой достает с антипомехами и точно: по “Свободе” какой-то трус и предатель вещает: “В этой бездуховной атмосфере, отравленной лживой пропагандой мертвых идей, мутная волна алкоголизма с головой накрыла все слои населения”.

Я говорю бригаде: “Вот что значит отличная маскировка! Не успели спутники пролететь, как про нас уже голоса передают! Спасибо, ребята! По постам разойдись!” Сам тоже иду, не помню как, на пост, но думаю: “Сильна у них техника, сука такая, сильна. Только дура. Не видит за гнилым фасадом существования наших недостатков главного”.

Лежу на лавочке возле Ленина, в небо смотрю, не стесняюсь нисколючки. Фотографируйте, падлы, пронзайте меня и всю мою бригаду инфракрасным звуком. Мы свое дело сделали, взяли удар на себя. Зато под нами физики-теоретики сидят, лбы у них титановые, сидят и кумекают, как сделать так, чтобы бомба была меньше, а взрыв ее больше и чтобы удобно было перевозить бомбы с места на место. Вот ты, братец, хоть и генерал-лейтенант, но ни хрена не знаешь, как бомбы атомные и водородные маскируют. Но тебе я скажу и ты меня не продашь, потому что Подгорный новый указ подписал: того, кто слушает военную тайну — расстреливать, того же, кто ее выдает — снимать с работы и на пенсию по инвалидности. Это — умный указ. Атомки перевозят очень просто и только по четвергам. Грузовик с надписью “Мясо” спускается под землю, там в него кладут тройку бомб, и он себе спокойно прет по Старопорохову мимо гастрономов, столовых, кафе, ресторанов, шашлыков из пончиков прямо к товарной станции. Носильщики волокут бомбы в вагон-ресторан и понеслись они по стратегическому назначению. Тут тоже наши умы неплохо сообразили. Ведь по четвергам рыбный день, в вагонах-ресторанах жрать нечего, а мяса вообще нет в Старопорохове, чего же грузовикам зря простаивать? Водородные же бомбы возят совсем по-другому, братец. Их трясти нельзя. Может, видел, телеги на импортных резиновых шинах стоят у Райтопа и битюги там же топчутся? Так вот, никакой там не Райтоп, хотя слухи передают, что не везде у нас еще центральное население. Там — лифт из цеха главной сборки. Грузят атомную бомбу на телегу, обкладывают березовыми дровами,

повязывают веревочкой, полковник-кучер шопотком говорит битюгу: “Шагом марш!” — и едет себе бомба, мягче ей на шинах, купленных у той же Америки, чем на перине. А полковник-кучер вроде пьяный и носом клюет, вожжой пошевеливает. Вот как бомбы возят. А вот что такое перевозят в грузовиках, на бортах написано: “Ешьте тресковое филе! Вкусно! Питательно!”, клянусь тебе, сам не знаю. Наверняка, какую-нибудь такую плеху, от которой расколется наш земной шар пополам и будут обе половинки летать рядом. Половинка — наша, половинка — американцам, а Китай сделаем спутником, вроде Луны. Тогда и само филе, возможно, появится в магазинах. Но это все только мечта, генерал, личная моя мечта... Короче говоря, вдруг продираю глаза от незнакомой и страшной боли в заднем проходе. Жжение и боль. Башка тоже, естественно, трещит. Не рассвело еще, а может, только начало светать. Охаю, подымаю голову, а надо мной голос: “Лежите спокойно, Милашкин, не мешайте делать замеры”. Чувствую еще, кроме жжения и боли, что ветер по поверхности моей жопы гуляет. Значит я голый? Да. Брюки приспущены до пят. Партбилет на месте, грудь колет краешком. Бумажника не чую. Скосил один глаз влево. Женщина в штатском держит рулетку в руке и кричит: “Расстояние от Ленина до ануса пострадавшего — восемь. От проезжей части — десять. До Маркса-Энгельса — сорок”. Мужик другой конец рулетки не отпускает, прямо в зад воткнул, а баба ходит вокруг меня и метры сообщает. Пытаюсь сообразить, что за новую маскировочную загадку тут выполняют и не могу. Фотограф подошел, щелкнул несколько раз, ослепил меня светом. Рано было, но милиционеры уже зевак вонючих целую толпу сдерживали. Я снова дернулся, мне стыдно ведь и больно. “Спокойно, Милашкин, нам не нужны пальцы. Нам его отпечатки нужны”. “Кого его?” “Того, кто вас

жет, вы, так сказать, себя ... сами?" "Вы что, — говорю, — очумели?" "Ну, хорошо. Тогда лежите спокойно". Сердце у меня: ек... ек... ек, башка раскалывается, к горлу тоска похмельная подступила, жопу жжет и ломит, кто-то что соскреб с нее, через лупу смотрели, потом чем-то намазали, я в бане ихнюю мазь с трудом отмыл, наконец, баба говорит: "Найдены два длинных волоса на пояснице пострадавшего!" В толпе шумок прошел насчет того, что длинноволосых много развелось пидаров и наркоманов и что такое зверство совершили около Ленина не иначе как диссиденты и сионисты, больше некому.

А я все ж таки продолжаю верить, что идет особая маскировка в связи с запуском восьми пентагоновских спутников сразу и что высший смысл происходящего парторг со временем мне непременно откроет. Продолжаю верить, несмотря на стыд, рабочее похмелье, боль и легкое сомнение. Правильно или нет мы все же поступаем? Не слишком ли крайняя это маскировочная мера — отхарить на боевом посту коммуниста и бригадира коммунистического труда? Вдруг вы назовете это потом, на очередном съезде партии, волюнтаризмом? Жопу мою реабилитируете. А мне, думаете, легче от этого станет? Дело-то сделано! Всунуть- то всунули, хотя и вытащили!.. Лежу на скамеечке, поддрагиваю, от мыслей ревизионистских отмахиваюсь. Что я в конце концов? И не такие еще жертвы люди приносили, по двадцать лет в лагерях хреначили, били их, пытали, измывались, в глаза харкали, а они верили все равно: не за горами ОН, не за горами! А я? Раскис, гадина, от одной палки. В конце концов, во сне это произошло. Я и пикнуть не успел, как бы под общим наркотом. Но, с другой стороны, раз я терплю и боль, и унижение, то почему мне — народу — не сказать, зачем принята та или иная или вот эта педерастическая мера?

Почему? Я, может, после объяснения еще раз сам себя под удар поставлю! Мрак.

“Натягивайте брюки, Милашкин!” Оделся я. Встал кое-как. “Что ощерились?” — толпе говорю. Смеются, змеи. “В милицейскую машину, пожалуйста, Милашкин!” Удивляюсь такому обороту дела, но иду. От каждого шага глаза у меня на лоб лезут, так больно и жжет, и копится в моей душе большая обида на партию. Нет! Не согласен я с происшедшим, и письмо в ЦК накаваю... Потом все пошло своим чередом. Протокол. Суд. Пятнадцать суток не поддавал. В башке тихий свет, какого много уж лет в ней не было, и ляпнуть охота стаканчик, словно в юности.

5

Жизнь между тем, братец, в Старопорохове продолжается. Земляки по-прежнему маскируются. Парикмахерша меня брить не хотела, в трамвае все друг на друга волками глядят, человеческое скрывают, машины бегут мимо “Мясо” и “Ешьте тресковое филе”... Домой заявляюсь. “Пидарас пришел!” Это теща моя сказала параличная. “Корми, Дуська, своего пидараса!” “Помолчи, — говорю, — ведьма, а то я тебе судно на голову надену, поплывешь с говном в крематорий”.

Смотрю: сидит моя баба Дуська в кухне и плачет. Я ее успокаиваю. Так, мол, и так. Работа у меня вредная, опасная, нужная партии и, следовательно, народу. Мы едины и небывало монолитны, как никогда. Чего реветь? Космонавтов месяцами дома не бывает. А тюрьма не космос, там не пропадешь, и страховку я получу за травму заднего прохода. Чего реветь, Дуська? Я же тебя люблю. Ты жена мне. “Какая я тебе жена? — отвечает

Дуська. — Когда ты спал со мной последний раз? Не помнишь, скотина? Сына твоего взяли, гад пьяный!” “Как так взяли?” “Так. Пришли и взяли. Самиздат какой-то нашли и книжку Сахарова.” “Какого?” “Того самого, который бомбу изобрел”. Вижу, братец, вижу, как желваки заходили на твоих военных скулах. Знаю, что ваша генеральская пиздобратия разорвала бы этого Сахарова на атомы, если бы ей волю дали, знаю. Очень он для вас теперь опасен. Вот послушает его партия, и почти всем вам пидец придет. Хватит, скажут, придуриваться. Валяйте на работу в авиацию, на флот торговый, гоняй трактора в полям, а не танки по чужим странам. Знаю. Но я не об этом сейчас, не о разоружении. О нем пускай Сахаров думает. Я с жизнью своей хочу разобраться. Выходит, я здесь на земле поддаю, маскирую подземное производство водородных бомб, бабу свою по занятости не ебу уже полгода, а меня в так называемый анус насилуют на посту, сажают, сына же Славку арестовывают за знакомство с академиком Сахаровым. Что же это получается? Заколдованный просто круг. “Дуська, говорю, не реви. Тут без пидитра не разобраться. Мигом слетаю”.

Иду первым делом по дороге к парторгу. А он на меня в жодевом налетает. “Партбилет на стол! Сын твой антиловетчик! В бригадирах тебе больше не бывать. Бери расчет! Пидарасов в партии не было, нет и не будет!” Кинул я ему в рыло партбилет, на работу и бригадирство начхать, маскировщики везде требуются. Смотрю под потолок. Внизу ведь партком, а наверху гастроном, и там сейчас, небось, вся моя бригада. Время без пяти одиннадцать. Гул с земли до парткома доносится. Топот ног. Не терпится людям. Душа у нас горит синим пламечком. Поднимаюсь наверх по эскалатору. Расчет взял. И мысль одна у меня в голове: разобраться, разобраться, разобраться. Выходит, натурально мне влупили, а не в плане

маскировки. Если бы для нее, то и не уволили бы. Правильно, генерал? Но если влупил, то кто? Вот вопрос! А у гастронома народ, вся моя бригадушка. Все опохмеляться пришли, один я — выпить. Но что это такое? Гуськова среди них нету, Долидзе и Доценко. Ударников, зачинщиков, рационализаторов! Волосы дыбом у меня встали, когда узнал я, что Гуськова и Долидзе тоже в прошлую ночь зверски изнасиловали на постах, одного в подъезде кооператива “Витязь”, другого за пивным залом “Лада”. Доценко же был изнасилован в центральном парке, прямо в кабине “Чортова колеса”. Главное, врезали ему, а кабину на самый верх подняли. Утром детишки приходят кататься с туристами, крутанулось колесо, открывают кабину и кричат: “Тетя! Тетя! Тут один дядя спит без штанов!” Народ, естественно, волнуется, Эпштейн, книжек который начитался, говорит, что это бродит по Старопорохову маньяк, призрак коммунизма, Фролов же прет на него и спорит, дескать, не маньяк, а коньяк. Я говорю: “Это дела не меняет. Личность наша теперь в опасности. Нечего гадать, кто нам по ночам влупляет, диссиденты или сионисты. Важно изловить этого человека и казнить самосудом. Нам за это ничего не будет. Я хоть и вышел из партии, но считаю себя коммунистом. Милиция, конечно, маскируется и не раскроет этих кровавых преступлений. Выпьем же и пойдем по следу”. Никто, братец Гриша, на мой призыв не откликнулся. Двери открылись, и вся бригада хлынула в гастроном, как вода в Днепрогэс, аполитичными стали люди. Более того — равнодушными. Но ты бы глянул на мою бригадушку, ты бы глянул! Разная шерсть. Впереди — рвань, глаза стиральным порошком не промоешь, гноятся, как у бездомных псов, но хвостами вертухают и на Кремлевские куранты поглядывают. За ними более гладкая публика, пылинки с рукавов сдувает и чортиков, приглаживает космы, одергивает пиджачки, ровно

артисты перед важным выходом. За этими стоят темные — а не маскировщики. Газеты читают, книжки, делают вид, что за постным маслом пришли, а не за водярой, сухариком или чернилами. Мы, мол, не с вами. Мы случайно. У нас вечером день рождения Ильича. Суки. Не люблю их и норму завышаю. Ты спрашиваешь, братец, сколько все же в бригаде моей рыл? Точно я тебе не скажу. Тайна есть тайна. Многомиллионная у меня бригада! Писатель есть даже один. В сторонке всегда стоит, на куранты не глядит. Знает: что что, а время движется неумолимо к одиннадцати и никто его не остановит, кроме ястребов из Пентагона, если они вдруг ебнут по Старопорохову без трех одиннадцать парой мегатонн. Тогда уже, естественно, в опохмелке не будет никакой исторической, как говорится, необходимости. Без шапки писатель. Поднял воротник. Прямо фигурой и недвижим, как в почетном карауле. Думает, видать, но, говорят, тоска его гнет, мнет и топчет, какая нам не снилась... Вот рвань ворвалась первой. Притерлись остальные друг к дружке. Я контроль народный назначаю, чтобы ни одна морда не шнуровалась без очереди. А писатель всегда последним заходит, причем тихо, тихо идет, с большим трудом как бы продвигается к прилавку. Сразу чувствуется, что какие-то силы удерживают его, тянут назад, на нервы действуя, а он, писатель, одолевает эти темные силы, как конь на подъеме, прет, прет, прет, по сторонам не смотрит, не до нас ему, допереть абы, и мы его всю дорогу без очереди пропускаем. Пей, милый, маскируйся, ты запыхался совсем... Беру бутылку и вспоминаю, что Дуське я обещал прилететь обратно. Маскировщики меня, однако, не пускают. “Не дело, — говорят, — бугру намыливаться к бабе в тяжелый для нас час. Четверо наших уже пали жертвами морального уroda всех времен и народов. Это же надо дойти до такого падения! Алкашей, которые важ-

ную государственную и партийную работу выполняют, харят по ночам, брюк даже обратно не натягивают. Нет нам покоя, пока не изловим длинноволосого, активного пидараса и выдерем у гандона из жопы ноги, пушай в инвалидной коляске катается!”

6

До Дуськи я, конечно, не добрался. Митинговал. Соображал. К Тетерину в гости ходил. Игорек его с двумя языками песню нам спел: пусть всегда будет папа! Смышленный паренек. Вдруг “Немецкая волна” передает про моего Славку. Его забрали, арестовали, тридцать писателей велели Брежневу его освободить. А Брежнев пришел в программу “Время” и отвечает: “Мы поменяем Милашкина на крылатую ракету!” Вот это — маскировка! Вот это — да! Домой не помню как добрался, на пост не пошел, смятение в душе моей, тоска, мрак. А ходить тяжело, в заду все еще жжет и першит, хотя пятнадцать суток прошло с момента изнасилования, и я никак не могу понять, когда же это мой Славка ухитрился наловить книжек, диссидентом и сионистом заделаться. Когда? Вроде бы на глазах рос, хоккеей вместе смотрели. А его забрали, арестовали, велели паспорт показать. Елки зеленые, елки зеленые. В трамвай люди меня подсадили. “Товарищи! — говорю. — Меня из партии исключили! Можно, без партбилета домой поеду?” Молчит народ. Ни слова. Ни взгляда. Маскировка. Спрыгнул на ходу, вынимаю член, извини, генерал, и небу его показываю. Дружинники подходят: “Ты чего?” “Это я Аполонам американским предьявляю. Пусть знают!” — говорю. С пониманием отнеслись. Не побили. А в башке, в душе то есть, свербежь: его забрали, арестовали, его забрали, арестовали.

Дай-ка, думаю, последний раз посты обойду, как Наполеон, а потом до самой смерти ночевать дома буду. И что же я вижу? Вымер, вымер родной Старопорохов! Ни за ларьками, ни за рыгаловками, ни в сквере около Дзержинского, ни в котельных, ни в роддоме, где ремонт делают, ни в канавах, ни в кустиках, нигде нету моих маскировщиков. Покинуты посты! Переполошились, твари, запаниковали! Анусы собственные вам дороже оборонной задачи! Приложил ухо к земле, там гул, визжат сверла, сварка трещит, хлоп, хлоп, хлоп, это уран-235 в бомбах утрамбовывают, а парторг речугу кидает: “Пусть знает этот академик, возомнивший себя Тарасом Бульбой, что великий советский народ, под руководством своего самого миролюбивого во вселенной политбюро, не позволит убить Сахарову то, что он породил! Все на субботник!” Ну, ладно, думаю, хоть там, под землей порядок, а тут покинуты посты! И я вдруг протрезвел. Совсем. Изловлю тебя, гадина, решаю, изловлю, свистка только жаль нету милицейского.

7

Иду к Ленину. По дороге “Би-би-си” слушаю. Все про Славку моего говорят. Обидно. Мог бы, вполне мог бы с отцом посоветоваться. Кстати, тебя, генерал, теперь из-за Славки разжалуют или на пенсию прогонят. Вымер Старопорохов, вымер. Только физики-теоретики из-под земли выходят и домой идут по мостовым. Но не в ногу идут. Нам всем запретили и подписку даже взяли ходить не в ногу. Потому что можем по пьянке создать резонанс так называемый, и рухнет перекрытие, не дай Бог, над цехом взрывателей или над усущкой дейтерия. Скептически посмотрел я на скамеечку памятную около Ильича. Трезв, а качаюсь для приманки пидараса длинноволосого. Ложусь

лицом вниз, прикрываю сиротливо свою голову бортом пиджака, вытрезвителем он воняет, дизобаней и тюрьмой. Нечеловеческие казенные запахи бедной жизни моей. Что сделал я с собой? Холодно, листья осенние слетают с веток, тычутся в меня, как птицы живые, им тоже холодно. А я забыл, что растительность есть на земле. Птицы есть, козы, кошки, собаки. Где же я, думаю, жил последние полгода, как ушел в маскировщики? Я жил на мертвой планете и нам давали перед сменой синий спирт. Белеет Ленин одинокий, замаскированный, а на самом деле под грунтовкой и побелкой Сталин. Да! За это премию дали одному гусю нашему. Да, да! Тому самому Тетерину. Он говорит на политбюро: “Вы что, очумели? Зачем же материал портить? Долго ли Сталина залысить, нос подрубить, лоб развести пошире, бородку замастырить и усики подбить? В два счета! А фигуры у них у обоих видные и шинельки с кителями одинаковые партийные. Да и курс указывают они один — коммунизм. Хули мучаться?” “Ну, Тетерин, — отвечает Косыгин, — я бы тебя в замы взял, но ты умный ужасно. Скинешь ведь меня, подлец! Признавайся: скинешь?” Тетерин, он у нас такой, говорит: “Угу! Скину!” С тех пор он в моей бригаде... Лежу. Главное, думаю, не задряхнуть. Я очень крепко сплю. Перевернулся. В небо смотрю. Не дремлют, гады. Летают. Ночью я спокоен, ночью хоть видны эти поганые спутники, нафаршированные в ЦРУ приборами. Днем же страшно, страшно, страшно. Мы знаем: летают, но не видим их, хули говорить, с разгонкой облаков и туч у нас еще обстоят дела слабовато. Не видим спутников. Самая тяжелая — дневная смена. Слепым я себя днем чувствую, слепым. О Славке стараюсь не думать. О Дуське тоже. Если о них думать, то поехать можно. Я принес семью свою вместе с тещей, сукой параличной, в жертву делу, за что исключен из партии и отхарен неизвестным лицом мужского пола.

Опять ложусь вниз лицом и вдруг... Тихо, братец, тихо, тихо! Слышу: топ... топ... топ... Ветки кустиков хрустнули, подбирается кто-то ко мне. Наматываю покрепче на руку веревочку. Я ее всегда с собой носил, как Зорге цианистый калий, чтобы повеситься в любой момент в случае разоблачения. А придумал я ту ловушку очень инженерно. Сделал большую петлю, накинул под брюками на всю жопу, а конец — в руку. Как только, думаю, он мне влупит, я дергаю, “ага”, — говорю, попался, гаденыш, и волоку его прямо за разбойный член в КГБ, если он диссидент-сионист, или в лягавку, если просто пидарас длинноволосый, Чайковский ебанный! Я себя, конечно, опять под удар ставлю, но иначе с поличным змея никак не изловишь. Он откажется, и — все. “Да, — скажет, — снял с него брюки. Мне показалось, что он в штаны вот-вот наложит. С пьянью это случается!” И — все! У него алиби, а у меня от хуя уши. В общем, наматываю покрепче на руку веревочку, силы в меня какие-то вдруг влились, заиграли, словно в разведке я на фронте паренек веселый. Бесстрашно жду. Будь что будет! Главное — не дать влупить до самого конца. До сих пор ведь больно. Главное — затянуть петлю, когда всего каких-нибудь пара сантиметров его члена в меня войдет, не больше! Захрапел посильней для затравки, промычал что-то, всхлипнул, слюню пустил. Топ... топ... топ... Между прочим, генерал, я с большим интересом, со стороны как бы, прислушивался к осторожным передвижениям этой сукоедины. Ведь не одного меня уже змей перепортил и все же по второму разу пошел, хотя дают за это пятнадцать лет. Он вдруг затих. Чего-то испугался, а я думаю: ну, что могло заставить человека харить спящих мирным сном алкашей? Что? Может, он урод? Или изо рта пахнет и никто из баб ему не дает? Зря! Судя по моей травме, мужик он неплохой и вполне мог бы охмурить какую-нибудь бо-

гатую буфетчицу или банщицу из Сандунов. И как так получается, что нет у нас в Старопорохове социальной базы для алкоголизма, блядства платного, иначе говоря, проституции, безработицы, крысы у нас не жрут детей, как в городе-банкроте Нью-Йорке, кризиса нету с нефтью, газом и дровами, а вот пидарасы длинноволосые разгуливают, словно тут Скандинавия. Может, начала природа переход бабы в мужика и обратно? Вот тебе и Верховный Совет!.. Гриша! Цыц! Цыц! Идет, опять идет, ширинку, слышу, на ходу расстегивает, скотина. Все обмозговал! Не на пуговицах ширинка, а на молнии! Вжик! Ты мне поверь, брат, очень странно было ощутить вдруг, что он меня хочет. Меня — Федора Милашкина! Я на секунду ослаб как-то, обмяк, словно баба. Да, да, да! Вот так они нам и дают, между прочим. Ослабла, милая, обмякла, а ты уже — есть во весь! “Ах, раз вы так, то я с вами и встречаться больше не буду! Очень вы быстрый и наглый!” Не вижу его, хоть и присткрыл слегка левый глаз. Белеет Ленин одинокий... Совсем близко подошел, последний шаг сделал... Храплю... Сам дышит тяжело... Вот оно! Вот оно! Посвящу ликвидацию одного пидара шестидесятилетию Советской власти, посвящу, думаю, страх отгоняя, посвящу! Закидывает на голову мне пиджак. Спешит. Ремень я нарочно отпустил, так что брюки он легко с меня снял, сдернул, жду, сердце останавливается прямо, в ушах шум, давление, очевидно, подскочило, холодно, ветер по мне до самых лопаток свободно гуляет, вазелином запахло, это уже к лучшему, только бы, думаю, не завопить раньше времени, действуй скорей что ли, гадина!.. Ой, Гриша, брат мой, товарищ генерал-лейтенант, ой! Тут я как дернул веревочку, “Ага-а!” ору, чую — захомутал член за самое горло, вскакиваю и чуть в обморок не заваливаюсь. Это уж мне тюрьма, а не ему, мне! Не меньше десятки! Прощай, Свобода, жизни моей

нелепой приходит конец! Он от меня чешет прочь, а на веревочке, в петле член его оторванный болтается. Ты видел где-нибудь на фронте или в Чехословакию когда входил, такую картину, генерал? Мрак! Зачем же дернул я так сильно? Зачем? Я — за ним. Думать некогда! Не бегу, а лечу. “Стой! — ору — Стой! Миром дело уладим!” Чешет, не оборачиваясь. Может, соображаю быстро на бегу, отвалить мне в сторонку, хер в урну бросить или в речку Пушки и иди тогда свищи, кто его оторвал. Доказать, что я, невозможно. “Стой! Стой!” Лечу, а член за мной тянется, обернуться боюсь. С другой стороны, если сердце пересаживают, почему хуй не пересадить? Хирургия у нас бесплатная и передовая. Вдруг он возле Дзержинского спотыкается, падает, тут я подбегаю на последнем издыхании, бросаюсь на него, а он подо мной трясется, ходунном ходит, как в эпилепсии. Верно: длинноволосый, мягкий такой весь, руки заламываю, переворачиваю... ебит твою мать! Дуська это! Моя Дуська! И я на ней! В хохот Дуську бросило, в истерику... И вот теперь я точно вспоминаю, братец, что когда я в тот раз лежал на скамеечке и дрых на посту, сон мне приснился.

Сам себя я не вижу, не знаю, где нахожусь, но лежит передо мной кремнистый путь в колдоебинах, пыльный, в общем, большак, и топот я слышу конский, лязг, треск и скрежет. Все ближе он, все ближе, куда от него денешься? Задавит, сомнет, разбрызгает по сторонам, хотя нету меня вроде бы на фоне этого пространства. Летит, летит! Это, оказывается, тройка летит! Тройка! А коренная у нее сам Карл Маркс, правая пристяжная — Энгельс, левая же — Ленин! Бьют они копытами, искру высекают, у Маркса грива белая за плечами трепыхается, закусил удила, грудь — колесом, башку пригнул, прет во всю, огонь и дым из ноздрей, глаза таращит, пристяжные тоже стараются, сбрую рвут, а на облучке старой брички Сталин-ку-

чер сидит в полной маршальской форме, трубка в зубах и то по Марксу, то по Энгельсу, то по Ленину — хлобысть вожжой, хлобысть, и мчится тройка, как взбесившаяся, и посторониваются от нее все народы и государства, и я — тень бесплотная в ночи кремешной! Мчится тройка, мчится! Быть беде! Но тут выбегает на путь кремнистый моя Дуська, “Тпррру!” — кричит, хватает Маркса за удила, осадила враз, Энгельс говорит “Ни хера себе диалектика!”, Ленин глаз косит татарский, Сталин с брочки в кювет летит. “Тпррру!” Тут я проснулся и слышу: “От Ленина до ануса пострадавшего — восемь метров, от проезжей части — десять, от Маркса-Энгельса — сорок”. Вот как было дело, а Дуська лежит подо мной и хохочет, как давно, давно в деревне, в поле, в отпуску когда были. Она хохочет, а я всерьез, слово даю, чувствую вдруг любовь и испытываю недовольство, что Дуська в брюках... Все было, Гриша, как тогда в деревне, в поле, в отпуску. Сладость все же любить жену, какая это сладость бывает вдруг, со “Старкою” только экспортной сравнивая! “Федя, — шепчет Дуська моя, — Федя... Ты ли это?.. На кого ты меня променял, Федя?.. Люби меня, Федя... Я умру за тебя!” И мне тоже так хорошо, как в первый раз! Фотографируй нас теперь ЦРУ, клади снимок утром на стол президенту и объяснения давай! “Квадрат 45. У памятника Дзержинскому Федька Милашкин любимую жену Дуську ебет, глаз голубой от удовольствия закрывает!” Вот как!

8

Но, дорогой ты мой брательник, покой нам только снится, как говорит Аркадий Райкин. Вдруг слышу: “Гражданин! Немедленно поднимитесь!” Е-е мое! Встаю. Это господа дружинники. Трое. Начали права качать. Я

официально им заявляю: “Мы подписали соглашение в Хельсинки? Подписали. Там пункт такой есть ”воссоединение семей”. Вот какое дело. Я свои права знаю. Вон он летит над нами секретный спутник “Сатурн”. Проверяет, выполняем мы то, что подписали в Хельсинки или темноту с чернотой разводим. Не мешайте воссоединяться мне с любимой женой Дуськой!” “А зачем вам самодельный член из политбюрона?” — ехидно так спрашивает ихний старшой, пока Дуська, бледная от срамоты, брюки натягивала. “Мы этого в Хельсинки не подписывали!” — очень жестко и давить начиная, прет на меня второй. Третий же вежливо приглашает: “В связи со случаями полового разбоя среди спящих алкоголиков, пройдемте без эксцессов”. Я снова начинаю права качать насчет Хельсинки, а они уперлись на одном: “Зачем вам член из политбюрона?” “Вы мне ответьте, — говорю, — куда тресковое филе девалось и почему колхозники объявили холодную войну партии и народу — картошку по 7 рэ ведро продают, живоглоты. Тогда я вам скажу, зачем мне член политбюроновый!” Дуська в ноги мне бросается. “Федя, ты что, тоже сесть хочешь? Идем. Я все расскажу, нас отпустят и ты спать ляжешь. Ты почернел, Федя, от пьяни. Пойдем!” “Хорошо, — говорю, — пошли, но в протоколе необходимо желаю записать, что за все время ни разу не выразился ”хуй”, говорил исключительно лояльно ”член”. Так и записали в отделении. Тут и начался шум-бурм. Прокуроры приехали, Чека, парторг наш и прочая шобла. Трое суток допрашивали то меня, то Дуську, на очные ставки раз пять водили, но я же не олень сохатый, я бывший член партии и по дороге в лягавку успел поднатаскать Дуську как следует. “Помни, — говорю, — одно: хуй ты купила на Тихом рынке в том ряду, где раньше картошку продавали. Продал тебе его негр, у которого деньги стырили из кармана, а расплатиться за творог было

нечем. Просил он за него десять. Ты дала три двадцать. Вот и все. В остальном выкручивайся, как знаешь. Дома же я тебя поколочу. Так не делают! Я хожу еле-еле до сих пор. Очко ведь не железное!” Между прочим, на меня, на мой позор и травму всей шобле было плевать. Они старались понять, кто вынес из совершенно секретной лаборатории кусок новейшего полимера политбюрона. Ведь его хранили в сейфах, ключи же от них были только у Главного Полимерщика. Если бы Пентагону удалось достать кусочек политбюрона размером с пробку от “Солнцедара”, то мы, как я понял из допросов, растеряли бы свое стратегическое преимущество к ебенной бабушке. Двое суток возили Дуську на приемы в посольства африканских государств и на лекции в университет Дружбы с Лумумбой для опознания негров. Она приблизительно узнала двух. Но один оказался военным атташе Берега Слоновой Кости, и у него было алиби: он в тот день фотографировал паровоз, на котором вечно живой Ленин приехал в Старопорохов, когда в Горках врезал дуба. Второй же стоял с утра до вечера в очереди за оливковым маслом, и масла ему не досталось. Все это видели. Не нашли, к большому моему удивлению, того самого негра. Взяли с Дуськи подписку, что как увидит его, так сразу позвонит на Лубянку. Дали три двухкопеечных монетки для автомата. Ну, парторг пытался установить связь между кражей политбюрона и нашим Сахаровым. А прокуроры начали подыскивать для Дуськи статью, поскольку Дуська в остальном раскололась. Все взяла, благородная баба, на себя. На самом же деле было так. Она и Тетерина баба, Элла, которая Игорька с двумя языками родила, подпили как-то и задумались: что с нами делать? Маскируемся круглые сутки, семьи разваливаем, заговариваться, якобы, начали и так далее. Ну, и решили нас попугать поначалу для смеха. Ах, мол, раз вы нас не ебете, в канавах

ночуете, то мы вам врежем, голубчики, шершавого! А вырезал его для продажи безмужним бабам из крадснего политбюрона Тетерин. И я стал первой ихней жертвой. Тетерин же, сука, и здесь всех перехитрил! Он тоже проснулся, как потом уж я узнал, в клетке с арбузами, с голым изнасилованным анусом, брючки натянул и — домой, как ни в чем не бывало. Болит очко, но Элле своей, разумеется, ничего не говорит, за походкой своей наблюдает, в милицию не жалуется и пить на день бросает. Бросает и предлагает жене: “Давай еще парня родим. Может, он с одним языком у нас получится?” Элла и рада. Передала тот хер политбюроновый женам Долидзе и Доценки, тех тоже отхарили, остальные мои маскировщики перетрухнули не на шутку, стали дома ночевать, бабы, конечно, довольны, а вот что думают американцы, я не знаю. Город-то опустел. Ночью живой души не встретишь, все пидарасов боятся, только у такси глаза зеленые горят, как у волков голодных. Подбирали Дуське статью прокуроры, подбирали, но смотрят: ни одна не подходит. Не предусмотрено, оказывается, кодексом нашим советским, безнадежно отставшим от жизни, наказание за изнасилование любого лица мужского или женского пола искусственным половым членом.

9

В бригаде у меня адвокатов было несколько. Устроили мы за Манькиным ларьком юридическую консультацию. Обмозговываем пару дней положение. Вырабатываем план защиты, химичим смягчающие обстоятельства и на случай суда выпрямляем линию Дуськиных показаний. Ведь ее таскать продолжают и говорят: “Все равно посадим. Не может преступление, о котором уже известно на

Западе, остаться без наказания! Ты, Дуська, — говорят, — прецедент создала. Интуристы, испорченные сексуальной революцией, ночуют теперь из-за тебя около Ленина, Дзержинского и Маркса-Энгельса. Брюки сами снимают и ждут до утра, но не выпадает им кайфа. Сознавайся, кто тебе вынес из-под земли кусок политбюрона и какой-такой неизвестный, удалив от него все лишнее, наподобие Фидию, изваял орудие преступления — член? Сознавайся, не то мы тебе скотоложество припаем!” Дуська моя, однако, заладила: “Если родная наша Коммунистическая партия и родное Советское правительство только на словах борются с алкоголизмом, а на самом деле увеличивают выпуск водки, сухарика и чернил, если с помощью вздувания цен на спиртное и замораживания зарплат Косыгин хочет уменьшить инфляцию, если насрать ему, что сивушные двуязычные уроды на свет выходят и к 2000 году мы займем по косорылости первое место в мире, а по гунявости — третье, то нам, бабам, все это не безразлично! Вон маманя моя, — говорит Дуська, называя так нежно эту суку параличную, плывущую, как Хейердал, на судне в крематорий, — что рассказывает?”

“Бывало, дочка, залазит на меня супруг, отец твой, царство ему небесное, залазит, а я уж сладко, сладко думаю, мечтаю, наяву, бывало, вижу ребеночка, которого... ой, как хорошо, которого... ой, как замечательно даже, Санечка... которого... любимый ты мой... умираю... умираю... вот сейчас... вот через секундочку... вот оно... вот... ребеночка вижу, которого заделывает мне супруг Саня, и ребеночек тот розовенький, пухленький, цыпленочек с ручками, с ножками, с глазками, с носиком, с пипкой исправненькой, с попкой-родной, ты это — Дуська, красавица моя, и за что тебе наказание такое послано, почему не ебет тебя твой змей восьмого разряда, ведьму полюбил с глазами оловянными, кубанскую перцовую московскую

особую... Брось его, Дуська!" И нам, товарищи прокуроры, хочется, как нормальным бабам и спать просто так с супругами от шалости и для удовольствия, и к тому же ребенчков рожать, чтоб не стыдно было за ихний ум и внешность перед другими странами и народами. Пускай знает Косыгин: Мы сами теперь за себя постоим, пусть земля горит под ногами у мужей-алкоголиков! Не будет им теперь покоя! Не политбюроновый хер, так пробковый! Не пробковый, так гудроновый! Найдем, что влупить и перцем присыпем, пусть жжет с неделю, хотя перца тоже в бакалее не стало! Вы их свели с ума, наштропалили на маскировку, а мы их сызнова на ноги поставим и газет читать не дадим про ваши бомбы, ракеты, войны, кровавых империалистов и обстановочку небывалого всенародного подъема на субботнике. И я лично на него больше не выйду! Ищите дураков! Денежки с субботника, миллиарды за труд наш бесплатный, всаживать надо не на постройку раковых корпусов и стадионов, а на больницы для алкашей наших проклятых и несчастных. Плевать нам, ихним женам, на стадионы! У Доценок дочка еле ходит, у нее по восемь пальцев на ногах, куда уж ей рекорды ставить на олимпиаде-80! А у Долидзе, у Гиви младшего звонок кривой. Кидай его на лед в фигурное катание двойной тулуп делать! Так и передайте Косыгину!" — говорит Дуська.

10

Задумались прокуроры. Делать нечего: докладывают Косыгину. Косыгин политбюро собирает сразу после "Голубого огонька", на котором Зыкина пела. А мы в тот день за Зинкиным ларьком сидели. Щепы набрали, коры березовой и листьев кленовых. Костер разожгли. "Таш-

кент!” — говорит Тетерин, а сам дрожит, как землетрясение. Согрели бутылку портвейна на огне чуть не до кипения, глотаем по очереди из горла горячую заразу, оживаем, сплотившись еще тесней вокруг костра. Тетерин вдруг дрожать перестает, хлопает нас по плечам, взгляд затвердел у него, и говорит: “Я вчера на политбюро был вызван. Доклад делал о цели существования химчисток, так называемых ”американок” в нашей стране. Но передо мной о Дуське разговор зашел. Судить ее или не судить? Брежнев говорит: “С точки зрения успехов дальнейшей маскировки, это у нас объективно, дорогие товарищи!” Говорил он, кстати, без бумажки. Тетерин сам видел, не врет никогда в таких случаях... А Суслов, чахоточный такой, не стоит у него с тридцать седьмого года, не соглашается... “Проморгали мы, не досмотрели погранвойска и таможенная служба, как половая революция перешагнула наши границы. Вот они, плоды разрядки — мать ее так. Расхлебывайте это дело сами! Предлагаю усилить идеологическую работу среди населения с помощью партпенсионеров. Все равно они зря чешут языками на бульварах!” Тут Андропов слово взял. “Так и так. Давайте попробуем сухой закон устроить, а из зарплаты алкоголиков удерживать от 3 р. 82 коп. до 4 р. 12 коп. в месяц на строительство антиалкогольных профилакториев с принудительной утренней зарядкой. Дуську же надо отправить в психушку. Она взяла на себя функции наших органов!” Косыгин вдруг как ебнет кулаком по зеленому сукну и попер на них с мешками под глазами: “Вы что? Сухой закон немедленно вызовет прекращение строительства БАМа и других молодежных строек! Твоими лозунгами, Суслов, народ не взбодришь! Людям в провинции жрать нечего, так пусть хоть пьют. Потом в коммунизме окупятся с лихвой, с большими процентами наши страдания и лишения. Госбанк торжественно дает нам на это свои гарантии”. Кири-

ленко, маленький такой, тоже мешки под глазами, глазки от черной икры заплыли, докладывает: “Наш резидент ”Соколок”, натурализовавшийся на острове Лесбос, доносит, что идентификация женщин с мужчинами, начавшаяся здесь до нашей эры, продолжается. Спрашивает шифровкой: как быть с Дуськой?” “Беда! — говорит Подгорный. — Народ пить резко бросил после всех этих изнасилований мужчин. Стрезва иначе мыслить начинает. В религию уходит. А самое страшное для нас сегодня, товарищи коммунисты, в том, что начинает народ искать ответы на Вечные Вопросы не в беспробудном пьянстве, а в наблюдении за интимной жизнью своих руководителей. У народа возникает незаконная социальная зависть к системе снабжения нас любительской колбасой со знаком качества. А дальше что будет?” В общем, братец ты мой, генерал, все политбюро сошлось на том, что надо устроить еще один всенародный внеочередной субботник, а магазины “Березка”, где по сертификатам без маскировки продукты продают высшего качества, закрыть немедленно, чтобы они, сволочи, не мозолили народу глаза и не уничтожали его веры в наше бесклассовое общество и в то, что все от мала до велика, от Брежнева до ханыги Тетерина, просты и скромны, как Ленин. “А теперь, — говорит Брежнев, — давайте посмотрим запись биотоков ленинского мозга, которую удалось записать нашим славным микрофизикам с помощью самого большого в мире радиотелескопа”. Тетерин сам видел, как на экране зеленые змейки забегали и запятые заплясали. “Полвека, как дуба врезал человек, а мозга все еще у него кумекает, не то, что у нас, — говорит Брежнев. — Кумекает и подбивает, как говорится, резюме всей нашей партийной работе: правильной дорогой идете, дорогие товарищи! Будьте и впредь беспринципны в своей борьбе с империализмом и сионизмом! Давайте теперь проголосуем, обменивать нам

баш на баш Корвалана, поскольку Пиночет, блядь такая, почуял нашу слабину в Хельсинки. Тактику новую и коварную избрали враги прогресса и мира. Раньше они пулю в лоб шмаляли коммунистам, мучили наших братьев по разуму в застенках до смерти, растворяли в различных кислотах и так далее, и не было у КПСС с ними возни. Зачислим в мученики, и с рук долой. Ныне коленкор иной. Мы, мол, вам Корвалана, а вы, дескать, нам Буковского. Я лично торговаться разучился, так как давно не покупал на Тихом рынке телятину, гвоздики и картошку. Предлагаю отдать Буковского. Но смотреть при обмене, чтобы вместо Корвалана другого какого-нибудь обормота нам не подсунули. Самого же строго предупредить, чтобы не вздумал трепаться насчет нарушения в СССР "прав человека", не то этапирруем обратно в Чили, и там трепись, сколько хочешь. Кто против?" "Я!" — шепотом, потому что чахоточный, говорит Суслов. "И я!" — вякает Косыгин. "Сталин так бы не поступил! — поясняет Суслов. — Он Троцкого достал, а Корвалана ликвидировать гораздо проще. Политический же эффект после его вынужденной ликвидации был просто шикарным. Плюс отсутствие прецедента. Прецеденты сводят на нет нашу работу. А вдруг реакция начнет арестовывать генсеков во всех странах и провоцировать нас менять их на диссидентов и сионистов? Что тогда? Хрущев уничтожил НЗ политических заключенных. Мы с таким нечеловеческим трудом снова наладили это дело, по крохам собирали, можно сказать, и вот — пожалуйста! Корвалан сидит там в отличных условиях, не пытаются его, свиданки дают, интервью разрешили раз в неделю, пусть себе сидит и объективно служит делу мира и социального прогресса. Логика подсказывает, товарищи, что тюрьма это — время. А любое время работает на нас! Я — против!" "Я лично, — говорит тогда Косыгин, — предлагаю поступить по-ленински, согласиться на

далеко идущий компромисс. Давайте обменяем Корвалана на Дуську. У нас невиданными темпами растут ряды женщин-пидарасов, разворовываются для этой цели ценнейшие полимеры политбюрон, партбюрон и насадки для членов из таких сверхтвердых сплавов, как совминий, подгорний и кэгелий-бэ. Более того, в провинциях пошли в ход сезонные овощи: морковь, огурцы, початки кукурузы, редис "Слава Терешковой", хрен "Комсомолец-долглетний", кочерыжки и так далее. Исчезла с прилавка магазинов черноземной и других полос колбаса всех сортов. Народ вправе спросить нас, коммунистов: "Где наша колбаса?" Что мы ответим? Повышение цен на отсутствующие в продаже продукты и промышленные товары оказалось правильным политическим шагом, но не принесло желаемого экономического эффекта. Увеличение платы за пробег такси — не панацея от всех бед, хотя курсирование населения из областей и районов в города и столицы в поисках дефицитных продуктов и товаров заметно уменьшилось, а экономия бензина увеличилась. Соответственно наблюдается резкий скачок его экспорта в страны НАТО. Обмен Корвалана на Дуську улучшит наши балансы и частично ликвидирует некоторые трудности снабжения населения овощами и бананами. Затрону теперь главный аспект всей проблемы. Бесславный почин Дуськи привел к катастрофическому затовариванию складов, магазинов и ресторанов нереализованными винно-водочными изделиями. Возникают пробки на крупных железнодорожных узлах. Растет инфляция, тромбированы многие внутренние-банковские финансовые операции. Крепнет реальная угроза спонтанного образования второй оппозиционной партии в нашей стране на политической платформе, не брезгующей никакой социальной демагогией. Идея глобальной маскировки наружного пространства СССР находится под угрозой! В такой ситуации лозунг "Вперед к

Коммунизму” выглядит смехотворно даже для дураков из братских компартий. Предлагаю поручить министру внешней торговли произвести обмен выше названных лиц в одной из нейтральных стран. Дело зашло слишком далеко. Зыкина моя вчера заявляет: “Если бы ты, Алеха, пил, я бы теперь знала, как поступить!”

11

Разобрали мы ящички из под апельсинов арабских, подкинули дощечек в костер, вторую бутылку подогрели, хорошо пошла, а Тетерин шпарит наизусть ихние речуги на политбюро. Шпарит, я же думаю, пронесет или не пронесет? Чем дело кончится? До чего мы дошли, Дуська с тобою? И виноват я перед заключенным своим сыном Славкой. Если б не я, моя многомиллионная бригадушка, да всякие надомники — поэты, композиторы, художники и артисты, не сочинил бы Славка книгу “Развитие алкоголизма в России”, не тискал бы ее на ебаном Западе, не сидел бы нынче под землей на Лубянке, а пил бы портвешок в подъезде и там же с девок брюки сдирал.

“Дуську менять мы не будем, — говорит Андропов. — Она без сына и мужа никуда не слиняет. А мой агент, работающий в кровавом чилийском гестапо докладывает, что естественная смерть Корвалана не за горами. Стоит ли рисковать в таком щекотливом деле?” “Стоит! — отвечает Брежнев. — Латиноамериканцы живучи. По словам моих референтов, Арисменди месяцами не ел, не спал, свертываемость его крови после пыток была равна нулю. Но он выжил. Потому что формула крови коммунистов продолжает оставаться загадкой номер один для врагов и международных карателей. Поменяем этого бандита Буковского на Корвалана. Хер с ним. Долго он после андро-

повской баланды и режима не протянет!” Бурная овация. Все встали, потом сели и дают слово Тетерину. Наливает себе Тетерин из графина хрустального с золотой крышкой крымской мадеры, хлобысть стакан и тоже толкает речугу. “Я, — говорит, — как внештатный контрразведчик, открыл такую штуку: сущность химчисток ”американок”. Однажды после смены желаю я опохмелиться. Но постепенно становится очевидным, что тряпок моих дома нет. Ни брюк, ни пиджака, ни байковой рубашки не нахожу нигде. Я бы Эллинские, бабы своей, тряпки напялил, неоднократно так поступал, но и их стерва из дома вынесла. Читаю записку, на ручке в сортире надетую: “Сволочь! Пьянь! Вещи в химчистке. Сиди дома и будь проклят!” Ах, так? Хорошо. Решаю сдернуть, как давеча, шторы, вернуться и таким манером проследовать в “Чайку”, вырвать у ней из клюва свои тряпки. Шторы сняты. Хорошо, думаю, сука, я тебе сейчас устрою Сталинградскую битву под Москвой! Однако удар Элка нанесла мне почти смертельный: не нахожу ни простынки, ни наволочки, ни скатерки! Окружен! Окружен! А в окнах уже хари вражеские лыбятся. Рога у них и червяки в ушах. Я по-пластунски бросаюсь в сортир, а там Киссинджер сидит, очки протирает, я в него громкоговорителем — бамс, воду спускаю, нету Киссинджера, только от унитаза кусок откололся. Пот с меня льет красный, зеленый, серый, и в каждой капельке по песчинке. Прыгаю в ванну, а-а-а-а!.. в ванной Киссинджер голый лежит, холодный, скользкий... а-а-а-а! Вываливаю на него всю посуду из буфета, а он из телевизора на меня зырит и говорит: “Не бойся, Тетерин, я — Валентин Зорин!” А-а-а-а!.. Тут мне политбюро бурную овацию устроило... Бросаю телевизор с балкона прямо на “Жигули”, развели машин ворье, колхозники, спекулянты! Вроде легче стало, но на обоях вдруг уши проросли и запах из ушей... задыхаюсь... вонища глотку перехватила,

и с полки кухонной макаронины на меня двинулись с вермишелинами наперевес. С люстры многоножки сыпятся, в ванной Киссинджер гломзает вилками и ножами по кафелю. Что делать? Пол-одиннадцатого!.. А-аа-а! Голым не пойду. Ходил один раз. Забрали. Незаконно забрали, ибо я шел и кричал: “Отвернитесь! Отвернитесь, граждане!” Ага! В передней шкаф стоял фанерный с зеркалом. Вырезаю в боках дырки для рук, сзади для глаз, дно вышибаю, кладу рубль с лысым из заначки на верхнюю полку, залажу туда и лифт вызываю. Муде прикрыто и ладно. Нормально. Двигаюсь по улице потихоньку. Игорек за мной бежит, “пусть всегда будет папа” поет. Не тяжело. Только в яйцо левое заноза попала. Зеркало зайчиками чертей распугивает. Так и заявляюсь в гастроном. Успел, слава тебе, КПСС! Поправился и — в химчистку. “А ну, давайте, — говорю, — падлюки, тряпки мои. Я — Тетерин. Квитанцию потерял!” Выдают, как ни странно. Шкаф я им оставил для грязных газет вместо урны. И что же я открываю? Не дураки они! Не дураки американцы! И опять нам заячьи уши приделали! Мы такие средства выделяем для борьбы со шпионами, маскируемся круглые сутки, а они всю работу свели на нет срочной химчисткой. Ведь стоит только тряпкам нашим туда попасть, как в них автоматически вживаются датчики и передатчики. Остальное же дело техники. Спутники летят, ловят их сигналы, и ЦРУ в курсе не то что всех наших планов, но и подробностей личной жизни. Вам-то, — говорю членам политбюро, — хорошо. Ваши тряпки бабы в “американку” не носят, а я поддал. Иду. Милашкин, бугор наш, орет: “Летят! Летят! Один над Анькиным ларьком, другой над Манькиным!” И слышу: жужжит в ширинке и под мышками. Жужжит и, как со спутника, сигналы из меня выходят: “Пи-пи... пи-пи... пи-пи...” Чего же думать? Закрывать надо химчистки к ебенной бабушке! Или же

вставлять в наши тряпки помехи. Они нас жужжанием, мы же их треском и скрежетом заглушим, как “Свободу”. Косыгин говорит: “Ладно, Тетерин. Мы что-нибудь придумаем. Один ум — хорошо, а двенадцать лучше!..”

Политбюро вроде винных отделов до семи работает. Я говорю: “Пойду, а то не успею”. Стали мы все, как во Внукове на проводах Брежнева куда-нибудь, лобызаться по три раза. Но с Сусловым никто не лобызался. Чахотка у него. И врачи запретили. Подгорный говорит: “Не сердчай, Суслов. Зато у тебя два тома сочинений на днях выйдут, и мы их населению вместо “Баскервильской собаки” по талонам давать будем”.

Вот человек Суслов! Дуба на ходу врезает, ему бы в Крыму на пляже валяться и портвешок дармовой жрать стаканами, а он в ЦЕКА на трамвае каждый день кандекает! Скромный мужчина, вроде Ленина”.

Тут, братец, Тетерин вдруг захрипел и в костер повалился, удержать не успели. Обварился немного. Мы его обоссали по древнему способу, чтоб волдырей на лице не было, а он плачет, Игорька зовет. “Прости, — говорит, — Игорек, прости ты меня за то, что пропилил я свою восьмую хромосому, и язык ты лишний имеешь! Но я тебе сестреночку рожу, красоточку, принцессу детсадика, а тебя отдам в двуязычную в англо-французскую школу! Прости! Завяжу я, завяжу, завяжу!”

Обо многом, братец, мы тогда поболтали. Подходит участковый. Рыло мятое: он ночью намордник на него надевает, наверное, чтобы бабу свою не кусать: “Вы понимаете, где вы костер разожгли? Вы понимаете, что в предолимпийские годы нас всех уничтожат? Вы отдаете себе отчет? Вы почему играете с огнем, когда “Россия” горит?”, “Как горит?” “Так! Сверху взялась!” “А-а-а-а! — заорал Тетерин, за голову схватился. — Горю-ю-ю?” И в речку Пушку — бух! Труп его только через месяц нашли в Су-

эцком канале. “Вы понимаете, где вы огонь разожгли?” Тут я головешки раскидал, уголье растоптали, повалился и плачу, как маленький, что пронесло беду, Слава Богу! Под костром-то нашим дежурная стратегическая ракета, оказывается, находилась. Еще бы немножко, пару дощечек подкинули бы, и — прощай вторая мировая война, здравствуй, третья! Нас бы раскидало, ракета легла бы на курс, оттуда последовал бы ответ и... все... все! Осталась бы на поверхности Земли только пустая посуда, сдавать же ее было бы некуда и, главное, некому. От этой ужасной картины, мелькнувшей, братец, в здоровой моей голове, почаще бы такие картины мелькали в ваших генеральских и маршальских калганах, заплакал я еще пооткровенней и громче. “Да! Уничтожим вас, ханыг позорных, к Олимпиаде-80! В народе нашем одни спортсмены останутся, выжжем язву алкоголизма олимпийским огнем, проститутки!” — шумит участковый.

12

Откровенно говоря, братец, стебанулся слегка наш участковый на этой Олимпиаде-80. Стебанулся форменным образом. Начал с балконов. Приказал не вешать на них белье, потому что вывешенное белье секретные американские спутники могут принять за белые флаги сдачи чами идеологических позиций, и тогда в одно чудесное утро мы услышим на нашей Большой Атомной улице скрежет гусениц вражеских танков. “Так что, — говорит, — если кто вывесит простынку и хоть бы даже белые кальсоны, буду рассматривать сей факт как сдачу в плен и стреляю, ети вашу бабушку в тульский самовар, без суда и следствия прямо в лоб. Мне давеча ящик патронов начальство для этого выдало... Ра-а-зойдись!”

Любил наш участковый это словечко. Он его ночью во сне и то орал. А все почему? Потому что, братец, пил он не с народом, а в одиночку. Чурался, сволочь, масс, индивидуалистом маскировался, трезвым. Но мы-то знаем, что на дежурство он без четвертинки спирта не выходил. И где, ты думаешь, он носил этот спирт, которым ему взятку в ядерном институте давали. В кобуру он его наливал! Да, да! В кобуру. Иной раз зайдет с тоскливой и яростной рожей за угол, снимет кобуру с портупей, башку запрокинет и присосется, ни капельки на земь не прольет. Вот и допился институтского спирта, которым ко дню рождения Ленина бомбы протирают. Сначала лаять во сне начал наш участковый. Тетерин ведь за стеной у него жил, все слышал. Лаает и лаает. Иногда с подвизгом, иногда, особенно в полнолуние, с тошнотворным подвоем. Спать невозможно было от евоного лая и воя, а указать на это не давал он нам никакого права.

“Я лаю по особому оперзаданию, и не окрысивайтесь, подлецы! И вой у меня государственное значение имсет. Без него давно бы уже стали рабами капитала и нью-йоркской мафии!”

Так он нам говаривал... Ты не перебивай, я все равно не двинусь дальше, пока не доскажу душераздирающую истину про нашего безумного участкового... Не командуй! Я тебе не Варшавский пакт! Я сейчас как гаркну “Смирна-а!”, так ты у меня лапки по швам вытянешь и простоишь до второго пришествия, когда тебе скажут: “Вольна-а!” Понял?

Баба же нашего участкового вконец измучилась от лая и воя своего муженька. Ну, и не выдержала. естественно. Не выдержала и стала затыкать ему на ночь глотку. То носком грязным, то портянкой, то трусами, и дрых себе участковый без задних ног до утра. И ни о чем не догадывался. Отдохнуть дал Тетерину-соседу и бабе своей с де-

тишками. Все было бы хорошо. Только стал он недоумевать, отчего это у него по утрам то нестиранный носок, то вонючая портянка, то запревшие трусики оказываются мокрыми и изжеванными порой невероятно. Ничего понять не умеет. Баба же его обычно ставила будильник для себя лично, вытаскивала утречком из участковой пасты затычку и сушила ее на батарее. Все было хорошо. Но как-то испортился у них будильник, хотя клеймо на нем стояло знака качества, и продирает однажды наш участковый пьяные свои зенки и обнаруживает свою глотку заткнутой. Ни охнуть, ни вякнуть, ни слова прохрипеть не может. Чуть не задохнулся от обиды, вырывает кляп и давай кусать свою бабу. До крови искусал, пока она голая на улицу не выскочила. Спасли мы ее.

А она с тех пор не давала себя участковому, пока он на ночь на напяливал на свою ханжную харю бульдожьего намордника. Любил он жену. Поэтому и надевал. Любовь к бабе, братец, и не на такие подвиги подталкивает, а еще на более сногшибательные. А выть перестал. Разве и залает после седьмого ноября, но я лично считаю, что это в порядке вещей после праздничной похмелюги. Но дело не в этом. Нас-то, гаденыш, привык утрировать по-зверски. Житья не давал, асмодеище. Ты интересуешься, почему я говорю утрировать, а не третировать. Потому что утрировать означает третировать утром, когда мы собираемся в яблоневом саду за Зинкиным ларьком. На ночь некоторые из нас зарывали, бывало, под старыми яблоньками остатки портвешка, чернил, бормотухи или пивка. Зароешь, а потом по утрянке откопаешь, опохмелишься и — под землю, сортировать атомы урана. Конечно, если со стороны на нас поглядеть, то странная, должно быть, картина открывалась в ЦРУ на проявленных снимках. Ползают между яблоньками маскировщики на карачках: рыщут занытую заначку, ибо один из них забыл, мерзавец, где он

ее заныкал. Перерыли мы однажды весь сад, ножами и палками землю истыкали — нигде не можем найти четвертинку и бутылку пива. Нигде. А сердца-то наши тем временем останавливаются, не хотят тикать без расширения сосудов. В головах же буквальный конец света, страшный суд и изнурительный ад. Тоска, повторяю, и мрак. Большое горе. Наконец, когда казалось, не выйдем мы все из яблоневого сада, умрем на посту и окончательно не воскреснем, натыкаюсь я случайно на белую головку под вялым осенним лопушком. Зубами стащил, губу порезав, оловянную пробку, зубами же “Жигулевское” открыл, откуда только силы взялись, ибо руки у всех тряслись, как у балалаечников из оркестра народных инструментов имени Курчатова, и отпили мы, сердешные, бедные, из стылой бутылочки, из “маленькой”, по одному спасительному глотку... Ух! Слава тебе, Господи! Прости и помилуй, спасены! Спасены на этот раз, а что дальше будет, неизвестно. Как завтра повернется судьба, не ведаем...

Быстро, для увеличения КПД водки и пива, разводим костер. Смешиваем в бутылке из-под шампанского с колотым горлом то и другое, и вот уже, товарищ ты мой, генерал-лейтенант, после спасения сам батюшка кайф коснулся наших внутренностей отеческой своей рукою. Кайф! Враз тела от него молодеют, мысли появляются в смурной, тупой и болезной пару еще минут назад башке, весь мир, включая проклятый наш Старопорохов, выстраиваться начинает на глазах, и хочется душе чегой-то такого... трудно даже сказать чего... высокого, настоящего, делового, полезного государству и людям, бескорыстного такого, решительного, партийного, а главное чистого... выпить еще, одним словом, хочется, а потом уже по эскалатору, вниз на второстепенную работенку — писать

красной краской на ракетах зловещий лозунг “смерть капитализму”.

И вот, только мы в порядок привели себя после вечерней маскировки, смотрим: человек бежит к яблоневому саду от нашего дома. Босиком человек, хоть инеем за ночь прихватило осеннюю травку, в кальсонах голубых и сиреневой майке. Участковый. Кое-кто думал рвануть когти подальше от штрафа, но я команду:

— Цыц! Участковый в кальсонах на маскировку работает. Беды не будет. Остаться на местах! Четвертинку притырить!

Подбегает, зверюга, запыхавшись. Рыло фиолетовое, вот-вот задохнется. Знаю я такие лица. Они от смертельного сужения сосудов бывают. Многолетнего, разумеется. Тут ты, братец, прав.

— Братцы! — хрипит умоляюще. — Братцы! Спасите! Дома — ни грамма!.. Помираю! Ей-Богу, помираю! Хоть пива дайте глоток, хоть одеколону... Спасите! Руки-ноги отнимаются! Можно и лосьончика!

На лбу участкового испарина. Дышит неровно. Подергивается весь. Глазенки бегают. Знакомая картина. Жалко человека бывает в таком состоянии. Беспомощен он и болен, и вся его случайная жизнь зависит в такие минуты от наперстка вшивого водки или от полстакана любой советской бормотухи.

— Век не забуду, братцы! Налейте! Дышать трудно! Грудь спирает! Виски горят!

— Нету, — говорю жестокою ложь. — Сами девятый хуй без соли доедаем! Запасать надо. Ты из магазинов, стерва, сумками волокешь, а у нас, маскировщиков, стреляешь. Где нажрался-то, борец с алкоголизмом?

— Праздник был, — отвечает, — у меня. Пистолет я потерял в понедельник. Все уж думал — конец. В петлю лезть собирался. Пенсия моя накрылась, а быть может, и

свобода. Нашелся он, братцы, нашелся. Я его на складе, когда заведующую улюлюкал, выронил. Нашелся. Ну, и загулял. Спасите!

— Как же ты его выронил? Вниз головой что ли стоял? — спрашивает Тетерин. Он любил как инженер-изобретатель до сути вещей докапываться.

— Не помню. Сонька такое иногда выделявает, что башка, как после карусели, кружится... Дайте глоток! Помираю... Костер горит. Значит, грели портвешок.

Нет думаю, не получишь ты, паскуда, глотка. Не получишь! Не ты ли костры наши раскидывал, не ты ли штрафы присылал за распитие спиртного в неположенных местах? А? А кто отлавливал нас, как бешеных собак, и волок в вытрезилровку? Ты — гадина! А главное, ты вредитель и, возможно, шпион, срывающий маскировочную задачу партии. Ты себя над нею поставил!

— Да, — говорю вслух, — ты поставил себя над партией и неспроста по ночам лаешь и воешь. Нету у нас для тебя ни глотка. Иди, продай пистолет и на вырученные деньги опохмелись.

Синеть начал тут наш участковый, а кончики пальцев белеют и не шевелятся. Перетрухнул я тут, но и водяру на змея переводить жалко.

— Подожди, — говорю Тетерину. — Не отливай в кусты. Давай, лей сюда в стакан.

Я это, конечно, тихо сказал, чтобы участковый не слышал. А может, у него тогда с похмелья уши были предсмертной глухотой заложены. Расстегнул Тетерин штаны и налил мне целый стакан до краев первой после ночи мочи. У него так от пьяни сужались сосуды, что он, извини, братец, отлить иногда не мог без опохмелки.

— Пей, — говорю участковому, — пока горячая. Градусов в ней 12 есть точно.

Веришь, генерал, залпом околотошный наш стаканнице вымахал, ни капли не расплескал, только ахнул, лопушок сорвал и занюхал, да слезу прощания с жизнью со щеки смахнул.

— Ох, хорошо! Век не забуду! Оживаю, братцы.

— Вкусно? — спрашиваю.

— Солоновато и клопами попахивает. Но поправился.

— Это вчера пиво с коньяком Тетерин перемешал. Еще хочешь?

— Не мешало бы. Я деньги могу принести. На халявную пить не собираюсь.

— Неси. Нам к одиннадцати пригодятся.

Принес, одетый уже в форму однако, пять рублей. А Тетерин за все его гадости и подлости ему между тем еще стакашок отлил. Вернулся же участковый совсем пьяненький и веселый. Поет: люблю, друзья, я Ленинские горы. Там хорошо рассвет встречать вдвоем... Закусона принес: колбасы, лука, помидор, пирожков каких-то и холодную кость из супа всю в мясе и аппетитных хрящах. Одним махом второй стакашок врезал тетеринской мочи и за любимую свою тему взялся: за Олимпийские игры и алкоголизм с хулиганством.

Вот зря, генерал ты мой военный, не веришь, что мочой опохмелиться можно. Это не означает, что нужно. Я лично один раз спас так жизнь одному своему маскировщику Кожинову. Кончался человек прямо у нас на глазах. Чуем, не дотянет до одиннадцати часов, не дотянет. Минут сорок до открытия рыгаловки-автомата оставалось. А он улегся прямо на Ленинском проспекте и кончается. Язык синий вывалил, глаза скосил, посерел, еле дышит. Тетерин и зарассуждал теоретически как всегда, что не может в нас не быть остаточного алкоголя в крови и в моче, если мы с утра под тяжелой балдой ходим. Должен иметься алкоголь. И хотя он разбавлен в нас различными

безалкогольными напитками, типа воды, все равно можно его использовать в крайних случаях. И сейчас как раз выпал такой случай. Спасти надо Кожинова. Вон он хрипеть уже начал. Стаканы, между прочим, всегда у нас с собой имеются. Поднесли Кожинову полный. Пену, как и положено, сдули. Жажнул он его, дергаться перестал и минут через пять зачирикал: ожил совсем. А что пил, так и не разобрался.

Но вернемся к участковому. Разобрало его, и понес он всякую бодягу про подготовку к олимпийским играм. Мы, говорит, указ секретный получили вырвать с корнем из Старопорохова к 80-му году язву алкоголизма, хулиганства, блядства, фарцовки, валютки и прочее. Гости, говорит, иностранные, а их полмиллиона собирается нахлынуть, чтобы поглумиться над нашими порядками, должны увидеть на каждом шагу безусловное стремление к коммунизму и идеологической добросовестности. В дни олимпийских игр всем не выселенным из города гражданам будет предложено, вернее приказано, прилично одеваться, лучше питаться, читать с особым выражением на лице книги товарища Брежнева в метро, трамваях, в автобусах и троллейбусах, а также на ходу. Можно при этом пускать слезу. Хохотать запрещено, потому что ничего смешного в великой трилогии писателя Брежнева нет. Запрещено также образовывать очереди у продовольственных и промтоварных магазинов. Очередь больше пятнадцати рыл одновременно будет рассматриваться как злоумышленная группа лиц и подвергаться рассеянию и штрафу. Граждане, тайком пробирающиеся во время олимпийских игр в город с периферии для снабжения своих семей мясом, маслом и рыбой, должны быть немедленно сняты с транспортных средств и этапированы к месту жительства. Прописка в городе Москве и его радиусах со вчерашнего дня разрешается только новорожденным

гражданам от родителей, имеющих постоянную прописку в городе Москве и его радиусах. Остальные, включая командировочных, временно обязаны считать себя персонами нон-грата. А вы, говорит участковый, пьяницы, и есть таковые персоны. Для борьбы с вами, говорит, уже обучаются тысячи юношей и девушек, и все они в дни олимпийских игр выйдут на улицы нашего великого города, чтобы следить за контактами гнилых интеллигентов и прочих тухлых граждан со спортсменами, чтобы пресекать наши попытки сдавать пустую посуду многочисленным интуристам из многих стран мира, чтобы помогать большим друзьям Советского Союза, типа Анджелы Дэвис, не обращать внимания на теневые моменты действительности, чтобы мгновенно собирать разбрасываемые агентами НТС листовки, брошюры, библии, произведения Ахматовой, Булгакова, Сахарова, Григоренко и прочих антисоветчиков. Основное внимание будет уделено недопущению на территорию СССР ни строки матерого врага, купившего в Америке старинную крепость с охраной и мечущего оттуда злобные выпады в адрес своей сверхдержавной родины... Вот так, говорит, дело у нас поставлено, чтобы засекать все контакты советских, вернее антисоветских, граждан с интуристами. Не секрет, что большая их часть уже не дремлет и будет заброшена сюда по путевкам ЦРУ. А уж потом по снимкам все эти вражеские рожи получат по заслугам и встанут на учет куда следует. В общем, говорит участковый, советую вам уйти, пока не поздно, в глухую завязку и развязать сразу же после Олимпийских игр. И не бухтеть на каждом шагу, что цены на рынках не по карману рабочему классу, что продуктов все меньше и меньше даже в Старопорохове и прочую антисоветчину и клевету. Есть у нас в стране продукты! Есть! Но мы их копим к Олимпийским играм и посему не выбрасываем на прилавки провинции и даже столиц союз-

ных республик. Вы же, говорит, антилопы, не представляете, сколько жрут спортсмены и интуристы во время Олимпийских игр! Много жрут. Если, например, для завоевания бронзовой медали в прыжке в длину спортсмену требуется за неделю съесть два кило мяса, то для получения золотой медали в тройном прыжке необходимо хорошо усвоить соответственно шесть килограмм мяса. А если подсчитать, сколько на Олимпиаде будет представлено видов спорта и сколько будет разыграно комплектов медалей между представителями соцлага и каплага, то выйдет стадо в десятки тысяч голов скота. О курицах, гусях, утках и прочих деликатесах лучше не говорить. Так ведь если сейчас вот, сегодня, весь советский народ накинется на всю эту живность, ежедневно прибавляющую в весе, то что же останется к началу Олимпийских игр? Консервы “завтрак туриста” останутся с перловкой в ржавом томите и больше ничего. Но они же на нашего туриста рассчитаны, эти немислимые завтраки, а как быть с “интуристом”? Чем его кормить? Он ведь задание получит от ЦРУ жрать, жрать и еще раз жрать, чтобы создать продовольственный дефицит в столовках и ресторанах. Он — интурист — позора нашего жаждет. Но мы ему скажем: жри, дорогой, жри хоть до заворота кишок. Мало тебе одного эскалопа или же цыпленка-табака — еще получай. Лети в пике, как говорится, за добавкой. Лопай! Мы, может, лет пять на жратве сэкономили, многие города забыли уже запах колбасы и вкус сливочного масла, но тебя-то мы накормим от пуза! Хавай! Нас ты за две недели не обхавашь, даже если после первого, второго и компота из сухофруктов пойдешь, поставишь клизму себе шпионскую и снова за стол усядешься. Вот что наша партия скажет господам интуристам! Просчитались, скажет она, господа! Аппетит ваш обречен на провал! Поэтому, внушает участковый, не бухтите по подъездам и когда порт-

вейн жрете, что хуже, чем сейчас, не было положения с продуктами в нашей стране. Не забывайте о полчищах интуристов, готовящихся к налету на наши столовки, кафе и другие точки нарпита.

Тут Тетерин вмешивается и отвечает, что он сию минуту изобрел новые консервы “завтрак интуриста” и посвящает свое изобретение Олимпийским играм. В банки надо набить черной и красной икры, а сверху положить пластмассовый плакатик “Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй”! Таким образом наша партия убьет сразу двух зайцев: накормит интуристов завтраком и настроение им на целый день испортит.

— Спившаяся ты персона, Тетерин, — говорит участковый, а я ему бесстрашно заявляю:

— Что же ты, околотошный, опохмелился и обнаглел? Ты сам и есть настоящая персона, потому что мысли твои идут вразрез с генеральной линией маскировки. Ты, — говорю, — понимаешь, дубина, основную идею Олимпийских игр? Не спортивную идею, а секретную, политическую?

— Ну?

— Налей ему еще, Тетерин, если тебе захотелось, — говорю, — но только в кусты не иди, чтобы баба из окна не увидела.

Участковый от второго тетеринского стакашка мочи совсем захмелел. Поэтому и растекался так. А после того, как еще полстакана, ничего не подозревая, врезал, совсем распетушился и как забазлает на меня:

— Я тебе покажу, псих, секретную задачу! Я тебя быстро под уколы сдам! Поваляешься в Белых столбах, поломают тебе ребра санитары, пожуеть рукав серенького халата, язык себе откусишь за такие свои слова! Понял?

— Я-то, — говорю, — понял все, чего достиг, а ты, болван, по ночам воешь и лаешь, в наморднике спишь,

чтобы бабу не кусать, и пистолеты казенные роняешь при совокуплении с завскладом прямо на мешках и на ящиках, потому что ты оружие за пазухой держишь, в кобуре же носишь спирт! Пасешься там, где копятя к Олимпийским играм продукты, сука, для народа, а главного не видишь и не слышишь! Ты приложи свое поросычье ухо к земле, говорю, приложи! — Пригнул я участкового к земле. — Слышишь? Там уже подземные работы ведутся. Здесь вот, на месте нашего яблоневого сада стадион вот-вот начнут строить, а под ним знаешь что расположат, олень пьяный? Под ним центральную Красную площадь строят с Кремлем, лобным местом, мавзолеем и со всеми делами. Мы-то если шарахнем по врагу водородками, то сметем его с лица земли, а уж он тоже, конечно, сметет нас. Но с лица подземелья нас не снесешь. Не снесешь. Нету такой еще у ЦРУ силы... Так что, вполне возможно, придется нам всем встретить первый день коммунизма под землей. Скучновато, я думаю, будет жизнь проживать внутри, но с другой стороны, пора и честь знать: пожили снаружи и хватит. И так черт знает чего натворили мы, люди, на поверхности. Зверя почти извели, луга вытравили, воду в реках замутили, леса вырубали и изгадили, воздух провоняли, как в сортирах и казармах. Хватит... Но ты-то, выходит, не понимаешь нашей маскировочной задачи. Ты не понимаешь, что мы отвлекаем вместе со всем советским народом и Олимпийскими играми внимание Пентагона настырного от того, что происходит под землей. А мясо и тресковое филе запасаются не для интуриста вражеского на время спортивной эпопеи, почему и нету ни хрена в магазинах, а для светлого будущего. Там, под землей, зажгем мы однажды свет, вентиляторы включим, чтоб воздух снаружи гнали, сядем за длинные столы, нальем в стаканы чистойшей “особой московской”, хлопбыстнем и закусим сначала рыбкой, жаренной в сухарях,

с пюре из молодой картошки, а потом после второго стакана за отбивную баранью котлету примемся... Ну, обнимемся, разумеется, и запоем “и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить!” А Леонид Ильич запевать будет “но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать”. И это уже коммунизм полный, а не хрен собачий. Ты не вставай, говорю, с земли, слушай. Великая под тобой стройка идет рядом с ракетно-ядерными цехами. Великая. И ЦРУ с Пентагоном, ФБР и НТС даже представить себе не могут ее небывалого размаха. Приезжайте, дорогие господа, подымайте свои штанги, прыгайте с шестом и без шеста, мячики через сетку перекидывайте, кувыркайтесь, плавайте, бегайте, как оглоушенные пыльными мешками, тыкайте друг друга саблями и рапирами, а мы под вами будем продолжать свое светлое будущее наяривать и погибель для вас производить. Вот как, участковая твоя рожа, понимать надо все, что по радио говорят, по телеку показывают и в газетах пишут. И не мы, маскировщики, на переднем гибнущие крае всенародной маскировки, враги партии и правительства, а ты! Почему, спрашиваешь? А потому, что если ты пистолет потерял, когда завскладиху нажаривал, форму с портупеей не сняв даже, то что ты потеряешь, когда враг ракетами по нам врежет? Все потеряешь: ум, честь и совесть нашей эпохи, не говоря о фуражке с кокардой. А теперь будь здоров и не кашляй. Нам на работу пора. Я сегодня на вахту встаю в честь выборов в местные советы и обязуюсь протереть постным маслом десять ракет вместо трех и пересыпать уран-238 из шести старых бомб в одну новую. А завтра все мы выйдем с похмелюги на субботник и будем строить под беговой олимпийской дорожкой новую психушку с закрытой тюрьмой, а также книжный крематорий, где партия решила сжигать в огромных количествах антисоветскую и

религиозную пропаганду. Вот такая беседа была у меня с проклятым участковым.

13

В тот же день, когда мы костер над ракетой стратегической разжигали, прибегаю я к памятнику Дзержинскому, становлюсь на карачки и стучу бутылкой “Зубровки” по асфальту, чтобы Славка меня услышал. Оттуда, из-под земли тоже “тук-тук... тук-тук...” Там тюрьма подземная, и прямо к ней метро подвели для маскировки. Перевозка же заключенных по земле сейчас, после Хельсинки строго запрещена. “Славка! — зову. — Славка! Я вот-вот пить брошу! Меня из партии погнали по пизде мешалкой! Мы с мамкой тебе филе принесли с картошечкой жареной и с огурчиком! Славка!”

Больше я ничего не помню, и только не надо мне, братец, мозги парить, что никакой ты не генерал-лейтенант и вовсе мне не брат родной, а лечащий врач. Ты — говно в таком случае, и я с тобой разговаривать не желаю. Если же ты действительно тот, за кого себя выдаешь, то пропиши мне микстуру. Я сплю плохо, и в мозгу моем голос Левитана дребезжит: “От Ленина до ануса пострадавшего — восемь, от Маркса-Энгельса — десять, до проезжей части — сорок!” Он мне покоя не дает. Заглуши его, как “Свободу”... Ты гляди! Замолк! А может, это Левитан умер? Он же старый. Или же умер он давно, но перед смертью вытянули из него на Лубянке все важные сообщения вплоть до 1991 года и на пленку записали. Не утаил, паразитина!.. Итак, выходит, я в психушке? Чудесно. Чудесно. И еще раз чудесно с маслом! Раз никакой маскировки не существует, раз она плод... повтори, пожалуйста... плод моего больного воображения, значит в

фургонах “Мясо” и “Ешьте тресковое филе” не возят водородные бомбы? Но что тогда в них возят, если мяса нету в десяти километрах от Москвы, а филе в самой Москве днем с огнем не сыщешь? Что в них возят? Где логика? Молчишь? Правильно. Дуська моя говорит: “Хватит, Федя, маскироваться, человеком становиться пора, не читай ты газет, не ходи на собрания, плюнь на радио и телевизор. Изолгались они, Федя, с ума посходили, бздят на нас горохом, а где была правда, там хуй вырос! Нам же бабам видней, чем вождям, что с вами, с нашими проклятыми мужиками происходит. И прете вы за старыми козлами прямиком на мясокомбинат!”

Между прочим, доктор-генерал, фельшер-маршал-лейтенант, брат-санитар, это хорошо, что мы с тобой не родные. Очень хорошо! Я тебе всю правду скажу! Брательник мой двоюродный, тоже Федя, в Туле умер от заворота кишок.

14

Дают Туле “Город-герой”. А жрать герою не хера. На полках скумбрия, ставрида, рассольник, колбасный сыр и прочие консервы. Изжога от них у пролетариата тульского. Пряники же приелись до глистов и диабета. Винище, однако, рекой льется, как везде. Тут слух прошел, что Леня должен приехать. Что делать? Набить же надо пузо народу, чтобы он на митинге тихо стоял, газы пуцал, отрывивал и не вякал вопросы провокационные. Дернули на политбюро Микояна. Он при Сталине был главный советник по голоду и питанию населения. “Говори, Анастас, как быть? Как моментально Тулу накормить?” Думал Микоян, думал и наконец честь отдал. “Додумался, — докладывает. — В Москве резервов говядины нет, баранина

из Новой Зеландии задержана в Индийском океане тайфуном "Бетси", свинина очень жирная и тоже ее мало. Предлагаю совершить исторический рейд Особой отдельной кавалерийской дивизии по маршруту Москва-Тула под девизом "Герой — городу". По прибытии дивизии на тульский мясокомбинат моего имени, немедленно начать убой, разделку туш и производство вареных колбас сортов "Отдельная" и "Особая", которые уже завтра можно выбросить населению! Кавалеристов же после сдачи шпор, сабель и штандартов переобуть в оперативные работники по охране Леонида Ильича и членов бюро Обкома!" Дали Микояну медаль "За освобождение Тулы". И зацокала дивизия лошадушек по шоссе на рысях на большие дела. Все так и сделали, как велел Микоян. Слышат алкаши тульские ночью: кони ржут, словно режут их. Повскакали с кроватей, с мостовых, с газонов, с нар, думают, что горячка белая начинается. А утречком бабы ихние протерли глаза, ибо не верится, что вчера еще голым голо было в колбасных отделах, там "Спортлото" продавали, нынче же лежат колбасины краснолилового цвета и пахнут вполне натурально. "Отдельная". 2.20 кг. "Особая". 2.90. Разобрали ее мигом, как эшелон с дровами в холодный год. Тут Брежнев прибыл. Выпили все. Закусили. Колбасы наелись, 117 туляков загнулись от заворота кишок. И мне не легче, что директора мясокомбината перевели в фирму "Заря" за то, что он приказал заложить в фарш побольше крахмала, чтобы всем колбасы хватило. А митинг был. Я его по телеку видел. Стоят туляки, ушами хлопают, переваривают отдельную особую кавалерийскую дивизию вместе с речью Леонида Ильича Брежнева. Все он тогда сказал. И про невиданные успехи, и про неслыханный трудовой подъем, и про яркие вехи, и про всенародный бой за качество продукции, и про Ближний Восток, и про Анголу — про все. Не заикнулся только о героических

трудностях снабжения населения продуктами первой необходимости. “Да здравствует советское метро — самое красивое в мире,” — сказал напоследок и слинял. Кавалеристов же в стройбат отдали, строить музей “Тульского пряника”. Вот какие самовары! И не надо меня, Федора Милашкина, пугать да страшать. Мы и так пуганные и застрахованные. На гипноз же меня не назначай. Хватит! Шестьдесят лет нас гипнотизируете, нам и кажется, идиотам, что шагаем мы вперед к коммунизму, что сложился из нас человек нового типа, и что все советское означает отличное. Хватит. Если я завязал, перенесши тяжелейшую белую горячку, если я героически пить бросил и жду не дождусь, когда лягу спать на свежую простынку рядом с женой Дуськой, то мне ни гипнозы твои бесплатные, ни калики-моргалики не нужны. Аминизин, пердомуразол, политбюронал ты сам хавай. Язык же мне никто не укоротит. Он не штанина. И насчет того, есть бомбовые заводы у нас под землей или нет, я сам разберусь. Поеду в деревню, колодс ю и погляжу. На твой вопрос относительно тяжелой умственной наследственности у моего сына Славки отвечаю отрицательно. Я лично, до того, как пить начал, был токарем 8 разряда. Дуська моя — шеф-повар рабочей столовой. Если бы она по “Би-Би-Си” рассказала, чем кормит партия народ, при том, что народ откормил партию, как индюшку, то много было бы шума, много. Ты меня, крокодил, можешь сажать, куда хочешь. Все равно я поеду в Хельсинку получать премию . . . , что я, бывший алкоголик Федька, отстаиваю право человека получать за свой титанический труд впервые в истории мясо, масло, молоко, овощи и фрукты на столбовой дороге человечества. Маскироваться больше не желаю и другим не велю. Мы теперь с бывшим отцом водородной бомбы будем работать на пару. Он пускай качает с политбюро права насчет свободы слова, психушек, интуризма и

так далее, а я займусь остальной жизнью. Столовыми, гастрономами, промтоварами, вредительством в винно-водочной промышленности, пидарасами длинноволосыми — всего не перечесть. Работы непочатый край. Делать мне все равно будет не хера на второй группе по мании преследования. Вот я и займусь вопросами обмана, унижения и издевательства над человеком в сфере бытового обслуживания. Затем обобщу все это дело и пошлю в “Правду” передовую: “Советская власть плюс электрификация нам — до лампочки!” Пусть попробуют не напечатать! Да! Я — инакомыслящий! Я не мыслю себе такого положения, при котором для Подгорного водку выпускают очищенную, а для меня сивушную, от которой мою голову... Молчу. Ой, молчу! Не надо звать санитаров! Молчу! Но я скажу еще всего лишь одно слово: Люди! Не грейте на костре портвейна! Люди! Ешьте тресковое филе! Оно вкусно и питательно! Долой “Солнцедар”! Ша-а-ай-бу!

